

Веслав Мысливский. Трактат о лущении фасоли

Перевод Константина Кучера

Главы 13 – 16

13

Разве я не рассказывал пану? Мне казалось, рассказывал. Поехал и купил. Не в ближайшем. Ближайшие городки были самыми настоящими заштатными дырами. Там могло и не быть. Я хотел коричневую фетровую. Побродил, прежде чем нашел магазин шляп. Может, я бы и проглядел его, потому как витрина была не больше моего окошка, а на ней шапки, береты и одна-единственная какая-то серая шляпа. На мое счастье, чуть дальше, за этими шапками, беретами увидел и как бы спрятавшуюся за ними коричневую фетровую. Обрадовался, вошел. Магазин темный, длинный, как коридор, света только от этой витрины, а в самом конце, за прилавком, продавец. Кажется, он задремал, потому что, когда я вошел, поднял голову с прилавка и, зевнув, бросил:

– Слушаю вас.

– Хотел бы шляпу, – сказал я извиняющимся за то, что разбудил его, тоном.

– Какую?

– Коричневую фетровую.

– Нет фетровых коричневых. У них нет коричневых оттенков. Вообще, молодой человек, то, что вы видите, это – все, – и показал на полки за своей спиной. Там лежали фуражки, береты, какие-то кепки, а шляп – всего несколько и, по большей части, в таких же серо-коричневых тонах, как и та, что на витрине, и две-три каких-то зеленоватых, насколько можно было разглядеть в полутьме, царившей в этой части магазина.

– Кажется, вы пришли в магазин, молодой человек, да?! – и поднялся со стула. Он был небольшого роста, но мне показалось, что вдруг стал намного выше и крупнее. – Только это не магазин. И уж точно не шляпный. Вот до войны у меня был магазин шляп. О, если бы вы пришли ко мне до войны...

Я прервал его:

– А та, что на витрине?

– С витрины снять не могу.

– Почему?

– С витрины мне разрешено снимать только при смене экспозиции.

– А когда она будет?

– Кто это может знать? Кто знает, молодой человек. Должен товар прийти, чтобы было что менять, – и как будто не мог простить мне, что я прервал его сон: – Впрочем, та,

что на выставке, для вас слишком велика. Я вижу, вам нужна на номер меньше. Или на два, если вы пострижетесь. Откуда мода на такие прически? Все, видите ли, не так. Все наперекор.

Я подумал, что, видимо, моя шевелюра так ему не понравилась просто потому, что сам он был лысый. А на голове у меня тогда была соломенная шляпа, и это заставляло чувствовать себя глупо из-за этой его лысины.

– Впрочем, чтобы убедить вас, – неожиданно сказал он более мягким тоном. Взял сантиметр, вышел из-за прилавка, заставил меня опуститься на колени и измерил мне голову.

– Как я уже и сказал, слишком большая. Столько лет в профессии, мне даже не нужно измерять. Посмотрю на клиента и сразу все понимаю. Размер такой-то подойдет. Также и по фасону, какой подойдет. Какой цвет будет подходящим. Прежде чем клиент примерит, я уже все знаю. Чтобы дать совет, нужно все знать. Иногда фасон или цвет может отличаться, но я посмотрю и знаю, что больше всего понравится клиенту, и даю соответствующие рекомендации. А чтобы определить, кто в какой себе больше понравится, о, это нужно знать гораздо больше, чем размер, фасон или цвет. Каждый клиент, для сравнения – это гора, на вершине которой нужно суметь увидеть подходящую шляпу. Зачем я вам это говорю? Шляпы – вот: что есть, то есть, а клиентов, увы, больше нет. Мы все трудящиеся города и деревни. А уж коричневые фетровые, нет, даже не помню, когда они и были.

– А будут, как думаете?

– Да кому это известно, уважаемый? Что вообще известно сегодня? Что солнце завтра взойдет, даже это – неизвестно. Я сделал заказ. Еще когда сделал. На коричневые фетровые – тоже. Я сам больше всего люблю коричневые фетровые. У меня еще довоенная, как-то донашиваю. Заказать сегодня – так много означает, пошлешь и ждешь его, как помилования. А если и привезут, то не те фасоны, не те цвета, не те размеры. Хорошо, если количество совпадает. Искусством считать по-прежнему владеют немногие. Искусство нынче, так сказать, план сделать, а никак не мода, цвет, размер. Другое дело, шляпы нынче не идут. Не носят их. Для шляп настали не лучшие времена. Как будто люди боятся быть слишком высокими. Потому что шляпа возвышает. Эти пять, десять сантиметров, в зависимости от фасона, добавляет к росту. Раньше все хотели быть выше. Были даже специальные фасоны для низеньких клиентов. Я всю жизнь работал со шляпами, и на старости лет, оказывается, ничего в этом не понимаю. Казалось бы, кто-то вроде меня, у кого был магазин до войны, и какой магазин, я привозил шляпы даже из-за границы, он должен уметь читать по шляпам, как по ученым книгам. Но, похоже, эти книги больше не охватывают сегодняшние времена. О, перед войной, если бы вы пришли ко мне, я бы нашел для вас подходящего покроя, цвета, фасона и по вашей мерке. Простите, уважаемый, что вы хотели?

– Коричневую фетровую.

– Я бы подал коричневую фетровую, а как же. Темнее, светлее, как вам больше нравится? С узкими, широкими полями? Пожалуйста. Выше, ниже? Вы довольно высокий, я бы посоветовал немного пониже. Пожалуйста. Клиент был клиентом. И шляпа, о, пожалуйста, вот, взгляните. Человека узнавали по шляпе. А сегодня – тяжелая промышленность на первом месте, производство шляп – побоку. Вот возьмите эту – ваш размер – и достал с полки за своей спиной одну из серо-коричневых шляп. – Наденьте и подойдите примерить к зеркалу.

– Нет, спасибо, – сказал я.

– Может, зеленоватую? – и вытащил одну из этих, зеленоватых. – К молодому лицу даже больше подходит. И как раз ваш размер. Я бы не советовал пану коричневый. Коричневый старит. Тем более фетровая. Не стоит торопить старость, даже в такие времена. Она сама придет. Хо-хо, на крыльях прилетит. Любой человек ее ждет, а когда она приходит, он вдруг удивляется. В человеке нет согласия на старость. Пан молодой, ему еще не понять, как приходит старость. Но и молодость когда-то проходит. Такова жизнь, в каж-

дом возрасте что-то приходит, а что-то уходит. Больше всего человек любит самого себя. Был у меня клиент, я перед войной поставлял ему шляпы высшего качества... Такого клиента больше нет, у меня так точно уже не будет, – и вдруг словно вспомнил что-то: – Подождите, у меня есть кое-что для пана. Уверен, что подойдет, – он начал перебирать на полке все эти шапки, береты, шляпы и, наконец, вытащил, словно откуда-то с самого дна, шляпу кремового цвета. Отряхнул ее, поправил и с гордостью в голосе произнес:

– Еще из моего магазина. Примерьте, – и когда я поблагодарил его, но нет, не такую хочу, начал меня чуть ли не упрашивать: – Что, пану тяжело?! Пожалуйста, примерьте. Похоже, именно пана эта шляпа и ждала. Иногда так бывает, шляпа ждет своего клиента. И когда клиент наконец-то приходит, это, не иначе, судьба. Исполняется то, что предназначено свыше. И не только шляпе. К сожалению, такого клиента, скорее всего, уже не будет. Ах, что это был за клиент. Жизнь прямо хлестала из него. Он менял шляпы, как женщин, думаю, можно и так сказать. Я всегда знал, что он поменял женщину, когда приходил за новой шляпой. И в последний раз он заказал именно вот это: «какой модный фасон, кремовую». Песочный цвет, в пустыне при полуденном солнце, – сказал он. И шепотом добавил: – Война будет. Пан должен жить на полную, прежде чем этот мир взорвется. Даже в последнюю минуту – жить, потому как кто может знать, что именно она – последняя. Я обещал ему за месяц достать, пригласил, пусть приходит. Но он так и не пришел. Это – именно та шляпа. Песочного цвета, песок в пустыне на полуденном солнце. Пожалуйста, примерьте. Нет, она мне больше не нужна... Тем более, что постоянно прячу ее под другим товаром. Государственный магазин, а я продаю свой товар. Причем довоенный. Не хватало еще, чтобы это обнаружил контроль. К счастью, им здесь нечего контролировать. Обычно они просто предлагают подписать протокол, что проверка состоялась, состояние товара такое-то, недостатков не выявлено. Иногда укажут, что слишком мало я делаю заказов и не на все виды товара, а ведь планы бывают разные, поэтому еще и другой, сопутствующий товар должен быть у меня. Иногда спрашивают, какие у меня пожелания. А какие пожелания могут быть у человека в государственном магазине, на государственной должности и все такое, так сказать, когда и пожелания национализированы? Я как-то упомянул, что не помешало бы больше шляп. А как же, записали. Попросили уточнить: какие еще желательны фасоны, цвета, размеры. Тоже внесли в протокол. И теперь я жду, когда мои пожелания исполнятся. А, да, еще у меня есть пожелание, чтобы мне свет починили. Через месяц смеркаться уже раньше будет, придется свечу зажигать, я ведь не могу закрыть магазин раньше установленного срока. От этого и до того часа написано на двери, что он открыт, и он должен быть открыт. Придет клиент, тогда я должен со свечой подойти к нему, спросить, что он желает, потому как не знаю, видит ли он меня здесь, за прилавком.

– А что случилось со светом? – спросил я, уже направляясь к выходу. Тем более, что не давал он мне надежды, что снимет ту шляпу с витрины, чтобы я хотя бы примерил, действительно ли она мне велика.

– А что могло случиться? Он погас и не горит. Я проверил лампочку, пробки. Порядок. А что еще проверить – больше не знаю.

– Только у вас?

– Как назло, в соседних магазинах свет есть. Надо мной. На верхних этажах есть. Во всем здании есть. Только у меня.

– А инструменты у вас есть? Хотя бы отвертка, кусачки, изолента? Я бы посмотрел. Может, удастся что-то сделать.

– Пан? – изумился он.

– Я электрик.

– Электрик? – удивился он еще больше. – Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? А ведь я был убежден, что каждого клиента могу и по профессии распознать. Каждая профессия – характер, а характер у любого на лице написан. В движениях написан, в походке, в позе, в его обхождении. Я убежден... Вы видите, что делается с человеком, ко-

гда он работает в государственном магазине. Нынче все труднее узнавать кого бы то ни было.

– У вас есть хотя бы кусачки? – напомнил я ему. – На худой конец, обычные клещи.

– К сожалению, – он беспомощно развел руками, словно признавая за собой какую-то вину. – Но подождите, здесь, рядом, магазин с различными инструментами.

Он чуть ли не выбежал из магазина. А я огляделся, хотя тут и рассматривать было особо нечего: ну, может, только большое зеркало – от половины стены до самого пола – сразу же бросалось в глаза. Он вернулся с полными руками самых разных инструментов. Отвертки (и с крестообразным, и плоским шлицем), плоскогубцы – поменьше, побольше, кусачки, напильник, молоток, какой-то ключ, круг изоляционной ленты, даже резиновые перчатки.

– Зачем пан столько принес? – засмеялся я. – Многое даже не понадобится. Сначала нужно проверить.

– На всякий случай, – сказал он, явно возбужденный. – В магазине сказали, что с электричеством шутить нельзя.

– Об этом я, к счастью, знаю, – сказал я.

Он положил все это на прилавок, убрав шляпы, которые уговаривал меня купить, и чуть ли не потирал руки.

– И кто бы мог подумать. Как тут не поверить в предназначение. В то, что это – не просто случай, а именно судьба. Даже в государственном магазине. Если бы у меня была коричневая шляпа из фетра и вашего, пан, размера, то у меня и дальше не было бы света.

– Это еще надо выяснить, – попытался я остудить его. Но он даже не обратил внимания на мои слова.

– Пан примерил бы, купил, а я так бы и продолжал сидеть при свечах.

– Здесь контакт в порядке, – сказал я, привинчивая шурупы, которыми розетка крепилась к стене. – Но было бы неплохо заменить ее. Еще довоенная. Корпус уже треснул. Теперь проверю лампу. Надо только прилавок на середину сдвинуть, с кресла не достать.

– Конечно, конечно. Распоряжайтесь, как считаете нужным.

Я встал на прилавок, снял абажур, выкрутил лампочку. Она не перегорела, но сам патрон едва держался, так как висел только на одном проводе, другой рассыпался где-то глубоко в кабеле. Я обмотал патрон изоляционной лентой, чтобы он не развалился полностью, отрезал кусок поврежденного провода. Таким же образом мне пришлось отрезать кусок провода и под потолком, потому что здесь отвалилась изоляция кабеля, как только я прикоснулся к ней. Это была большая работа и шла она медленно. Он, тем временем, как будто не мог найти себе места. Сел на стул, но и минуты не посидел, почти тотчас же вскочил. Задрав голову, смотрел, как я чиню. Внезапно его одолели сомнения:

– Может, я слишком рано радуюсь?

– Ну нет, что-нибудь да сделаем, – сказал я, – если только проводка в стенах окажется хорошей. Но все это подлежит замене. И без какого промедления.

Он снова сел, опять быстро вскочил, вышел в подсобку, вернулся. Начал переставлять на полках все эти шапки, береты, шляпы.

– Ищу место, куда бы положить эту шляпу, если пан не возражает. И просто, чтобы сказать. Я, между прочим, уже видел пана в ней. На улице, в парке, шел пан с дамой сердца. Раскланивался со знакомыми, улыбался. Все удивлялись, откуда у пана такая шляпа. Песочного цвета, в пустыне, на полуденном солнце. А это из моего довоенного магазина. Можно ли лучше определить цвет шляпы? Цвет песка в пустыне. И как раз ваш размер. Мерка, можно сказать, снята с вашей головы. И она будет сидеть у пана на голове, как влитая, я гарантирую. Шляпа должна держаться головы, как душа тела. Она не должна слишком плотно прилегать к голове, потому что тогда, если пан ее снимет, она может оставить след на лбу. Но она и болтаться не должна. Это еще хуже: шляпа – сама по себе, голова – сама по себе. Шляпа должна подчиняться голове: когда пан повернет ее налево, направо, шляпа вместе с ней тоже должна поворачиваться налево, направо. Пан поднимет

голову к солнцу, шляпа не упадет, пан наклонится, она, опять же, не упадет. И пан не должен чувствовать, что у него есть что-то на голове. Вот это, все вместе, и значит – правильный размер. На шляпах я, можно сказать, зубы съел. На шляпы у меня вся жизнь ушла. Поверьте старому шляпнику. Уж кому-кому, а мне пан может поверить, шляпы, о, они такие, какие есть, и очень похоже на то, что скоро совсем исчезнут. И никто больше не расскажет пану, что такое шляпа. А это – великое знание. В других головных уборах голова человека уменьшается, прячется, утрачивает свою неповторимость. Вышел я, так скажем, в воскресенье в город, то куда бы не посмотрел, все шляпы – из моего магазина. У меня, естественно, были и подходящие аксессуары к шляпам: шарфы, галстуки, галстуки-бабочки, перчатки, даже зонтики. И как я советовал клиенту, так он и выбирал. Доходчиво, мягко, тактично, чтобы он не сомневался, что это – в его вкусе. В конце концов, не у всех есть хороший вкус, знаете ли. А вкус – это очень важно. Вкус, так сказать, это – нечто больше, чем просто вкус. Какой у кого вкус, так тот и думает, чувствует, так воображает, таким образом и действует.

Я подумал, что мне нужно его чем-то занять, потому что мои руки уже начали дрожать. Даже с прилавка я едва мог дотянуться до проводки на потолке, здание было довоенной постройки, потолок высокий, и с постоянно вытянутыми руками работа шла не так быстро, как хотелось бы. А тут еще и эта его безостановочная болтовня внизу. Видимо, надежда, что он получил свет, так окрылила его, а, возможно, и из чувства благодарности ко мне он говорил и говорил. Ну, а я его не перебивал.

– А разве жизнь, так сказать, не дело вкуса?

Я подумал, что он обращается ко мне, и сказал:

– Подайте мне вон ту плоскую отвертку.

Машинально он передал ее мне, но даже не сделал паузы на передых.

– Одним это нравится и они с удовольствием живут, а другим приходится с этим мириться. Я бы никогда не знал таких людей, если бы они не были моими клиентами. По правде говоря, у каждого из нас есть душа клиента. В этом все души похожи друг на друга. И неважно, кто покупает, кто не покупает. Есть ли то, что он или она хотели бы купить, или нет. Избыток или недостаток точно таким же образом раскрывают в человеке клиента. К сожалению, не более того.

Я сказал ему, чтобы он взял абажур и пошел помыть его, потому как, похоже, он не протирался с довоенных времен, весь запылится, поэтому и не пропускает свет. Он взял его, но не сразу ушел. Повертел абажур в руках, как шляпу. Мне пришлось напомнить ему, что это не шляпа, он его может сломать. Только после этого он двинулся в подсобку. А когда вернулся, я похвалил его:

– Ну, видите, как абажур изменился, – и начал говорить об абажурах, о том, что сегодня уже нет таких абажуров, как этот, что в его магазине, и какие абажуры сейчас выпускаются. Но он воспользовался тем, что мне пришлось подержать винт губами, и снова начал гнуть свое:

– Вообще-то шляпа, это, так сказать, головной убор. Но не она, что-то другое – на голове конкретного клиента. И пусть клиент встанет в нем перед зеркалом, о, это – совсем другое. Ведь кто тогда, на самом деле, видит себя в этой шляпе. Никто, говорю пану, никто. А кого видит, спросит пан? Да, кого он видит? Может, он сам не знает, кого видит, как бы он ни стоял лицом к лицу перед своим отражением. И это, так сказать, тот увлекательный секрет, ради которого стоит всю жизнь продавать шляпы, чтобы посчастливилось с ней общаться.

– Передайте мне напильник, – сказал я. – Не могу наклониться, а он нужен мне здесь.

Он стал искать по прилавку, перебирая инструменты.

– Ну вот же он, у вас в руках, – сказал я. Он непроизвольно протянул его мне. – Передайте мне эти отвертки, – я решил, что займу его делом, чтобы он подал мне то или это, может, он перестанет говорить. – Возьмите у меня эту отвертку. Передайте мне сейчас же. Возьмите.

Подаст, возьмет. Возьмет, подаст. Но и я вместо того, чтобы чинить, словно поддался ему и повторял снова и снова: возьмите, подайте, подайте, возьмите.

В конце концов, я попросил его влезть на прилавок, встать рядом со мной и передавать мне инструменты или брать их у меня, потому что я с трудом дотягивался до его протянутой руки, когда он стоял на полу, а наклониться мог далеко не всегда. Он подставил себе кресло, влез, стал рядом со мной, но и это не помешало ему продолжать говорить.

— Иногда с первого взгляда было видно, что шляпа клиенту не к лицу, но клиент утверждает, что в этом ему однозначно лучше. И, естественно, возникает мысль: кого он увидел, чтобы сделать вывод: что вот это — лучше. К сожалению, ему не сказать, что, наоборот, это вам не к лицу, потому что это может звучать так, что вы высказываетесь не о шляпе, а о его лице. И когда я говорю о лице, то как бы ставлю под сомнение его собственный образ в нем самом. А ведь у каждого есть на это священное право, каждый несет в себе свой собственный образ...

— У меня винт выпал. Спуститесь и поищите, — уже в который раз попробовал я его прервать. Он спустился, почти как пружина, проворный, несмотря на свои годы. И, пан не поверит, сразу ее нашел. Мне или вам пришлось бы весь пол осмотреть, прежде чем найти. А он только соскочил с кресла, наклонился и винт был уже у него в руках. И так же быстро он влез обратно на прилавок.

— Как будто вы сомневаетесь в нем самом, в его неудовлетворенности собой, его стремлении к себе, его тоске по себе, потому что у каждого есть что-то подобное, что, по сути, помогает нам жить. И тем более, в клиенте, которого вы не можете не уважать. Прибыль — не самое главное, когда человек имеет дело со шляпами и так долго, как это делаю я. В конце концов, вы вырастаете из страсти к наживе, как из старой шкуры, и так же, как и ее, отбрасываете от себя. Особенно, когда вы скорее приближаетесь, чем отдаляетесь, к той бесконечности, где никакая прибыль уже не имеет значения. Когда человек начинает измерять свою жизнь всеми теми шляпами, которые он продал. Когда его все чаще преследуют сомнения, что все эти достопочтенные обладатели шляп, действительно, счастливы. Если бы я был уверен в этом, я бы сказал: «Хвала шляпе!». К сожалению, нет. Хотя еще до той войны, будучи более или менее в вашем возрасте, я работал учеником в магазине шляп. Со шляп, так скажем, я начинал жизнь, на шляпах и заканчиваю. В том числе две мировые войны. Что касается шляп, то я был уверен, что знаю о них все. Оказалось, не знаю. И поверьте мне, молодой человек, я начал усваивать этот мудрый урок невежества только когда мой магазин был национализирован. Как бы там ни было, что есть, то есть, как видите. Я был наказан за то, что осмелился поверить в то, что знаю. Но воистину, как оказалось, что я знаю? Тем более, если принять ту высшую меру знания, при которой даже не подозреваем, что не знаем о том, чего как будто не знаем.

На этот раз я обманул его, будто снова у меня упал винт. И что вы скажете, он спустился, поднял его, залез на прилавок, передал мне. И я дал себе передышку.

— Подайте мне лампочку, абажур и спускайтесь.

Я надел абажур, вкрутил лампочку.

— Здесь больше ничего не сделать, — сказал я. — Теперь все зависит от проводов в стене. Поверните контакт.

Он повернул, и лампочка загорелась. Нет, он не взорвался от радости. Он просто сказал:

— О, свет, — и повернул контакт еще раз, выключая. Он снова включил свет, выключил, включил, выключил. Похоже, его охватила тревога:

— А когда пан уйдет, будет ли он?

— Будет, будет, — заверил я его. — Но это все временно. Нужно все — выключатели, розетки заменить, провода в стенах, все. И не откладывая.

— Сколько я вам должен? — спросил он, останавливая меня, потому что я уже собрался уходить.

— Ничего.

– Но ведь я должен вам как-то отплатить? Погодите, погодите, – задумался он. Вдруг подошел к витрине и снял эту коричневую шляпу из фетра. – Я не могу продать с витрины. Не могу. Но хотя бы примерьте. Убедитесь сами, что она слишком велика для вас. Я бы не хотел, чтобы вы ушли, не удостоверившись в этом.

Надел, встал перед зеркалом, а он положил на витрину одну из этих, серых.

– И что? Велика, я же говорил. Чем коричневее, тем сильнее она выглядит слишком большой к молодому лицу пана.

Шляпа постоянно падала мне на уши. Кроме того, глядя на свое отражение в зеркале, я начал сомневаться: я ли со шляпой на голове там, в зеркале. Может, и пана иногда преследует такая неуверенность, пан ли это? Она преследовала меня всю жизнь. У меня было чувство, будто я разделился в себе на того, кто знает, что это он, и того, кто не знает. На того, кто знает, что он умрет, и на того, кто даже мысли не допускает, что это он умрет, как будто кто-то другой должен умереть вместо него. И мне никогда не удастся совместить в себе этих двоих, чтобы они, хотя бы в единстве, почувствовали друг друга. Так скажу пану: человек не должен размышлять о себе, а тем более углубляться в себя. Он такой, какой есть, и этого должно быть достаточно для него. А есть ли он, нет ли его, пусть сам решает.

И именно тогда, перед зеркалом, с этой слишком большой шляпой на голове, когда я смотрел на свое отражение, буквально до боли испытал это раздвоение внутри себя.

– Пан уже бреется? – неожиданно бросил он. Я был сражен и там, в зеркале, сделался красным, как рак.

– Конечно, – сказал я, но не думаю, что это прозвучало очень уверенно.

– Сколько раз в неделю? – он не отступал, как будто у него была какая-то цель.

– Это зависит от обстоятельств.

– Не обижайтесь, молодой человек. На мой взгляд, максимум один раз, в воскресенье. Я спрашиваю потому, что для лица, которое бреется только раз в неделю, коричневый, фиолетовый цвета не подходят. Я бы даже сказал, что это – наименее подходящий вариант. Уже не говорю о том, что она вам велика.

Он как будто испугал меня этим, и я сильнее надвинул шляпу на лоб, в надежде, что так, может быть, она не будет выглядеть такой уж большой.

– Да нет. Зачем пан закрывает лицо? – он подошел и откинул шляпу назад. – Пока лицо молодое, его надо раскрывать, пусть оно сияет молодостью. Будет ли оно сиять, когда его избородят морщины? До войны коричневые фетровые у меня чаще всего покупали чиновники. В этом отношении ничего не изменилось и сегодня. Всякий раз, когда они приходят провести инвентаризацию, то или иное, всегда спрашивают, есть ли у меня коричневая фетровая шляпа. Но у меня нет. Откуда? Ничего страшного, он выберет себе другую или какую-нибудь шапку, как правило, забыв заплатить. Вот в чем разница. Я не упрекаю, нет. Но тогда мне нужно из собственного кармана. А из чего, если за месяц работы на месяц жизни не хватает. И их не волнует, что это государственные деньги. А мне не в чем себя винить. Что по совести, здесь можно сделать, вы сами видите. Да, это – все, что есть. Но, к сожалению, от них зависит, есть ли у вас что-нибудь на совести. Совесть тоже национализировали. Бог больше не должен нам напоминать о совести. Даже на какое-то мгновение. Подождите, может, сдвинуть шляпу чуть больше назад, чтобы спереди немного торчали волосы.

Он сдвинул на мне шляпу так, что ее край поднялся вверх. И хотя мне показалось, что я навряд ли смогу ее носить, сказал:

– Вот. Так-то лучше. Намного лучше. Подойдите ближе к зеркалу, – а сам чуть надвинул ее с зада на перед. – Да, очень большая. Очень. Никак не получается так ее надеть, чтобы этого не было видно, – и, отступая от меня, немного разочарованно: – А вообще-то, куда вы так торопитесь, чтобы заполучить свою шляпу. Еще успеете. Пан молодой, может, доживет до тех времен, когда они будут разных размеров, фасонов, цветов. Кто-то должен надеяться, что доживет, дождется. И у кого это может получиться, если не у вас,

молодых. Я слишком стар. Слишком стар для того, чтобы верить в это. Слишком стар для этого нового мира. Так мне сказали в конторе, что это новый мир и что я ничего не понимаю, потому что слишком стар. Я спросил, почему они хотят национализировать мой магазин, пусть выкупят его у меня. Без особой охоты, но я продам. И один из них сказал мне, что я не понимаю. Революция, гражданин. Я спросил его, что это? Революция есть революция, она заключается в том, что нужно доверять ей. И пусть гражданин больше не спрашивает. Пусть гражданин подпишет. Вот здесь. Вам не обязательно читать. Естественно, подписал. И даже поблагодарил его за то, что он любезно дал мне понять, что я не понимаю. Или, может, фуражку себе купите? – он зашел за прилавок, стал снимать с полок фуражки, одну, другую, третью. – О, может, вот эта. Ваш размер. Или эта. Или эта. Эта даже больше подходит к вашему лицу. Из всех головных уборов фуражка больше всего подчеркивает молодость. А может, вы не хотите быть молодым? В таком случае кем тогда хотите? В вашем возрасте единственный шанс – быть молодым. Для человеческой жизни снова мало молодости. Особенно, когда жизнь тянется и тянется. И вы не можете откладывать это на потом. Другое дело, что нынешнее время – не лучшее время для молодости. Сегодня даже молодые не знают, что они молоды.

– Ну, не все так уж и плохо, – осмелился я возразить ему, ведь, стоя перед зеркалом, я не сомневался, что, по крайней мере, внешне, – я молод.

– Внешность, это только внешность, молодой человек. Не стоит так легко доверять себе, особенно когда вы видите себя только в зеркале. Эта коричневая фетровая шляпа должна заставить вас задуматься, тем более что она слишком большая для вас. Как только вы вошли, что-то в вашем лице сразу же меня встревожило. В конце концов, я знаю лица. Всю свою жизнь я подбирал шляпы к лицам. А это требует столько же опыта, сколько и сомнения. В каждом лице, вне зависимости от его индивидуальности, сначала в обязательном порядке нужно учесть его частности: глаза, лоб, брови, нос, рот, щеки и вообще все мельчайшие подробности. После чего их снова надо объединить со всеми их неопределенностями или преувеличениями, довести до небытия, чтобы ничего не мешало видеть скрытое родимое пятно этого, конкретного лица, его самое глубокое скрытое родимое пятно, поскольку в каждом лице есть такое. О, лицо глубоко проникает в человека. И каждое под своей, подходящей шляпой. И тогда гораздо проще подобрать шляпу. При этом не следует забывать, что мы имеем дело с выбором и другой стороной, потому что шляпы также бывают капризны, некоторые прямо-таки своенравны. Иногда они могут быть так обманчивы, что теряется представление о том, что вы выбираете: шляпу к лицу или лицо к шляпе. Позвольте заметить, я не раз испытывал это на себе, когда шляпа как бы отвергала лицо, а покупателю шляпа нравилась. Мне жаль было каждое такое отвергнутое лицо, но, в то же время, следовало бы пожалеть и шляпу. И не только потому, что вся моя жизнь прошла со шляпами, что все вращается вокруг них. Каждый день моей жизни, так сказать, вставал из-за шляп и садился за шляпы. Шляпы клубились в моих мыслях, желаниях, стремлениях, фантазиях. Поэтому, когда я пытался представить себе человечество, оно представлялось мне бесконечным множеством шляп. Временами я даже терялся в догадках, был ли я сам шляпой. Только на чью голову? На чьей голове? Поэтому признаюсь вам, молодой человек, когда национализировали мой магазин, я почувствовал облегчение. Как будто кто-то освободил меня от какой-то обязанности. Ба, освободил. Не буду отрицать, что чувствовал и горе, возможно, даже отчаяние, но прежде всего – облегчение. Снимите на минутку шляпу.

Я снял ее, он взял шляпу из моих рук и пошел с нею за прилавок. Наклонился, исчез, как будто что-то искал там, в глубине. Из-под прилавка я слышал только его голос:

– Где-то здесь должна быть газета. Однажды клиент оставил ее. Я не читаю газет. А, вот она, – он вылез из-под прилавка. – Идите сюда. Посмотрите внимательно. Мы складываем газету, примерно такой же ширины, как и эта прокладка внутри. Не слишком толсто, потому что тогда она будет мала для вас, – он сунул эту газету за набивку вокруг шляпы, помял один раз вокруг, по всему периметру. – Пожалуйста, наденьте ее сейчас же. По

крайней мере, она не будет шататься у вас на голове. Да, и не упадет вам на уши. Единственно, если снимаете ее, пожалуйста, никогда не кладите вверх дном. Точно так же на вешалке, пожалуйста, повесьте так, чтобы не были видны внутренности шляпы. И самое главное, когда вы будете раскланиваться. Пожалуйста, никогда не раскланивайтесь с большого расстояния. Газета может выпасть до того, как вы пройдете мимо этого человека. И, Боже упаси, не поднимайте шляпу слишком высоко. Просто чуть выше головы и чуть наклонитесь. Жест может быть широким, но шляпа должна быть наклоненной. Давайте, попробуем. Я дам вам какую-нибудь другую шляпу, а сам буду в этой, я вам покажу.

Он дал мне одну из этих серых и велел отойти к витрине. Сам надел коричневую фетровую и попятился к прилавку.

– Да, давайте включим свет, раз уж он у нас есть. Будет виднее. Пожалуйста, теперь мы идем навстречу друг другу. Медленно, как в замедленной съемке. Не нужно спешить. Вы ко мне, я к вам. Пан – тот, кому я должен первым поклониться, а Вы мне отклоняетесь. То есть, Вы – это не Вы, Вы – это я, потому что у меня эта шляпа с вложенной в нее газетой. Поэтому, пожалуйста, смотрите на меня внимательно. Пошли. Я еще не кланяюсь вам, еще слишком далеко. Вот, только сейчас, когда мы почти прошли мимо друг друга. Не вы кланяетесь мне, а я – вам. А теперь я хочу, чтобы вы поклонились мне. Не снимайте шляпу так резко, газета может выпасть. Ничего страшного, что она, коричневая фетровая – у меня на голове, но учитеесь-то вы. Вы поднимаете руку вместе со шляпой. Спокойно. Делайте широкий, размашистый жест, в зависимости от того, кому вы кланяетесь. Как будто вы хотите поднять ее почти на высоту вытянутой руки, в это время вы проходите мимо и вообще не снимаете или, самое большее, слегка приподнимаете. Для поклона иногда бывает достаточно одного жеста. Но на всякий случай не забывайте оглянуться, как только вы пройдете мимо друг друга. Ведь если окажется, что другой человек тоже оглянулся, вы всегда сможете сделать движение рукой, как будто киваете ему. Давайте, попробуем еще раз. Теперь вы возьмете эту, с газетой, а я вашу. И поменяемся ролями. Посмотрим, как вы справитесь со своей ролью. Идите сюда, на мое место, а я пойду к витрине.

Мы прошли так несколько раз, и каждый раз он что-то поправлял в моем поклоне. Но в очередной раз, прежде чем мы поклонились друг другу, он вдруг словно очнулся, остановился на полпути, посмотрел в большом смущении на меня и сказал:

– Дайте шляпу, – он выбросил газету из ее середины. – Господи Иисусе, чему я вас учу! – и он положил шляпу обратно на витрину, сняв ту, серую, которую положил на замену. – Пропади все пропадом! Просто не узнаю себя. Стыдно даже сказать, чему это я вас учу. Шляпа, выложенная газетой. Как можно дойти до такого?! Немыслимо. Поклон – это поклон, церемониальное, так сказать, действие. Как будто я хочу лишить вас всех удовольствий от ношения шляпы. Мне даже трудно представить, что вы могли бы поклониться даме в шляпе, выложенной газетой. Другое дело, что и дамы, как таковые, уже исчезли. Улетели или умерли. Плохое время для дам, так сказать. Если вы пройдете по улице, увидите, что с ней произошло. Бьют вас в бока, практически топчутся по вам, и никто даже не извинится. Я почти не выхожу. Только в магазин, из магазина. Не говоря уже о том, что у них на голове. Я стараюсь не смотреть. Вы заметили, как мир испортился? Ну и что из того, что он не исчез? Меня всегда привлекала красота, а не само существование мира. Слишком большая для вас, слишком. Но не сказать, что она вам не к лицу.

Он открыл ящик под прилавком, вытащил какой-то толстый grossбух и бросил его мне, на край стойки.

– Что это?

– Книга жалоб и предложений. Я бы только посоветовал не подписываться своим именем. Подпишете: клиент. Я всем так советую, – он снова взял в руки grossбух, начал нервно перелистывать страницы. – Почти все записано. Чего тут только нет. О, какое-то стихотворение. А здесь – рисунок, но очень некрасивый, очень некрасивый, пожалуйста,

не смотрите на эту страницу. А, вот, еще чистая страничка. Пожалуйста. Пожалуйста. Обязательно.

— А что мне написать?

— Что пожелаете. Если не хотите шляпу, то все, что пожелаете. Клиенты обо всем пишут. Не только о шляпах. Я никому не говорю, что написать. Все равно не буду показывать это контролерам. Для контроля у меня есть другая. Вот, эта, — и вытащил из другого ящика второй грессбух.

Он раскрыл его, подсунул мне под глаза: — Этот чистый, как видите. Только штампы и подписи, что был проверен. С другой стороны, здесь каждый может писать все, что захочет. Где еще клиенты должны писать? И кому? Богу? А если Господь не знает нашего языка? Если бы знал, если бы знал... — он вытащил из кармана платок, протер глаза, нос, лоб. — Мне очень жаль. Я совсем забыл, что обязан вам светом, — бросил один грессбух в один, другой — во второй ящик. — Я так думаю... Но нет, нет. Слишком большой, слишком. Я сразу, как только вы вошли, понял, что это — не ваш размер. И даже забеспокоился, потому что сразу понял, пан пожелает коричневую фетровую, именно ту, что на витрине.

Так сказать, с первого взгляда. С первого взгляда обычно мы узнаем о ком-то больше всего. Когда чье-то лицо внезапно впервые возникает перед нашим взором, оно, на долю мгновения, раскрывается нам во всю свою ширь и глубину, если можно так выразиться. Так что, когда вы только вошли, мой первый взгляд рассказал мне о вас все. Что он мне рассказал, спросите вы? Он сказал мне, что ваш приход — случай, который, выходя из общего ряда, превращается в предназначение. Да, да, молодой человек, судьба — это не что иное, как крайне злонамеренный случай, от которого уже нет пути назад. Вы пришли, хотя у меня не было коричневой фетровой шляпы вашего размера. Вы, возможно, не знали, так ли это, нет.

Только вы не понимаете, почему хотите обязательно коричневую фетровую. И дело не в том, что пан хочет того, чего у него нет. Молодежь имеет право хотеть то, чего нет, и даже то, что невозможно. И не имеет значения, что вам не подходит коричневая фетровая. Суть — не в этом. Дело в том, что вы, так сказать, проходите мимо себя. Вы проходите мимо и не узнаете, что это вы. Я еще надеялся, что, может, хотя бы эту — кремовую. Вы, однако, пренебрегли ею. Вопреки себе. В несогласии с самим собой. Итак, кто вы, почему оказались здесь? Вы говорите, электрик. Работаете на стройке. Вы починили мне свет, чтобы это подтвердить. Пусть все так и останется. Я вижу, у вас молодое лицо. Настолько молодое, что можно сказать: пан еще не совсем вылупился. Пусть так и останется. С молодыми лицами обычно сложнее всего. Потому что молодое лицо, как бы это сказать... По своей природе непостоянно. Что-то в нем постоянно светлеет, тускнеет, втекает в него, вытекает. Вам кажется, что вы уже успели что-то зафиксировать в нем, и вдруг оно ускользает, исчезает, рушится, и все время вы видите перед собой другое лицо. Но в вашем лице, я глубоко убежден в этом, мне удалось что-то ухватить, запечатлеть. А именно то, что у пана все, так сказать, не в меру, вне ее. Даже сами для себя, на самом деле, вы сами — не в меру. И вы не в ладах с единственным и неповторимым, что есть в этом магазине, с коричневой фетровой шляпой, но никак не наоборот. Не в меру — это ваше призвание, так сказать, знак вашего существования, как это проявилось в столь злонамеренном случае: есть только одна коричневая шляпа из фетра, и та на витрине, а с витрины я не могу ее снять. К тому же она слишком велика для вас. Все, все в вас не в меру, что только может быть не в меру в человеке. Более того, вы просто чувствуете себя чужим в себе, вы, так сказать, не подходите себе. Просто вы, молодой человек, не можете быть встроены в какой-то ряд. Но, кто знает, может быть, невозможное сегодня когда-то станет возможным.

Короче говоря, вы чувствуете себя так же, как эта шляпа на вашей голове, только наоборот. Пана как будто что-то несет и снова и снова придает ему ту или иную форму, а временами полностью меняет его. Не знаю, почему я говорю это вам. Меня всегда трогали молодые клиенты. Особенно с тех пор, как они национализировали магазин, и у меня стало гораздо больше времени на размышления. Верьте мне, на молодое лицо я могу смот-

реть, как на картину. И даже если в течение нескольких недель сюда не будет приходить молодежь, потому как для этого у нее нет никаких причин, меня это не смутит, так как я могу себе ее представить. Те едва заметные черты, которые не хотят свернуться хотя бы настолько, чтобы быть в состоянии ухватить эту далекую, все еще далекую тень смерти. Потому что именно смерть – самая точная мера молодости, старости больше не нужна никакая мера. Молодость, так сказать, состояние невесомости, единственное за всю жизнь.

Чем можно ее измерить, если не смертью. Нет другой меры, поскольку человек даже не должен знать, что он молод. Осознание этого, правда, всегда приходит поздно и, как правило, вне зависимости от возраста. В этом и заключается наша человеческая судьба, она всегда безвременна... Все всегда конечно. Ведь осознание – это наша судьба, а не жизнь. Жизнь нашу: стоило ли жить, обязательно, не обязательно, – определяет только судьба. Жизнь – это то, что происходит без связи, без цели, день за днем, чаще всего по воле случая, с тех пор, как мы есть, мы должны быть. Судьба, с другой стороны, утвердила человека как своего рода признание жизни. Только короткое время молодости дает нам понять, как может выглядеть счастливая вечность. Столько лет, столько лет в этих шляпах, а молодость все еще пугает меня, меня, носителя старой шляпы. Особенно когда кто-то молодой покупает первую в своей жизни шляпу.

Вы ведь тоже первую, не так ли? Я так и думал. Я сразу догадался, как только вы вошли. И, извините за вопрос, как давно вы работаете электриком?

– Сразу после школы, как ее закончил. Сначала на электрификации села, – я уже собрался выйти, даже положил руку на дверную ручку, но меня остановил его вопрос.

– Да, понимаю, – сказал он.

Я не посмел спросить его, что он понимает, поскольку, на мой взгляд, здесь нечего было понимать.

– А почему вы ушли? – снова спросил он.

– Плохо платили, – сказал я. Но в этом его вопросе что-то было. Как будто он знал, что я ушел из-за саксофона. И чтобы сбить его с толку, я продолжил говорить дальше: – Дождь, не дождь, мороз, не мороз, приходилось сидеть на столбах...

Но он не дал мне закончить:

– А давно вы на этой стройке?

– Вот, получил первую зарплату.

– Да, теперь я все понимаю, – голос его прозвучал явно подавленно. – В столь юном возрасте, в столь юном возрасте коричневую фетровую... – подошел к витрине, снял шляпу и, протягивая ее мне, сказал: — Давайте еще раз примерим, – после чего вошел за прилавок, присел, положил голову на руки и больше не произнес ни слова.

Шляпа была явно великовата. Даже, казалось, что сейчас она спадает мне на уши еще больше, чем когда я примерял прежний раз. Я покачал головой, она тоже покачнулась. Я придвинулся ближе к зеркалу. Да, большая. Я отошел, слишком большая. Тем не менее я стоял перед зеркалом и ждал, пока он, в подтверждение, не скажет: – Ну, видите, слишком большая. Слишком большая. Я надеюсь, вы наконец-то убедились в этом.

Но, так и не услышав с его стороны ни слова, я снял шляпу и положил ее прямо перед ним, на прилавок. И вдруг... Он неожиданно спросил:

– Наденете или завернуть?

Нет, я не был счастлив, как пан мог бы подумать. Я понял, что у меня нет выбора. И сказал:

– Пожалуйста, упакуйте.

Скажу пану, это была самая долгая поездка в моей жизни. Ну, за этой шляпой. Принимая во внимание общее время – туда и обратно. Иногда мне кажется, что она продолжается до сих пор. Потом я путешествовал на самолетах, кораблях, экспрессах, однажды я

летел на вертолете, но мне кажется, я никогда не ездил так долго. Обычный пассажирский поезд, и я не знаю, знает ли пан, каково было путешествовать на таком поезде в те дни. Мало того, что он останавливался на каждой станции, на каждой остановке, где даже не было не то что здания или будки, даже указателя, что это станция, но часто и перед семафорами, в глуши, безо всякой причины... Иногда не успевал еще хорошенько разогнаться, а уже останавливался.

Сколько это могло быть километров? Возможно, не так уж и много. Все зависит от того, чем измерять. Я измерял шляпой, за которой ехал. Я уехал на рассвете, а еще накануне мы пили допоздна, потому что мне пришлось проставиться на новой работе новым коллегам, особенно прорабу, бригадиру, мастеру. Так что я не спал и надеялся, что отосплюсь в поезде. Но мысли об этой шляпе, смогу ли я купить такую, какую хочу, не дали мне даже глаз сомкнуть. Поэтому я надеялся, что на обратном пути у меня все получится, и я хоть немного посплю.

В магазине он посоветовал мне сходить на подстанцию, где меняли поезд, и я обязательно найду свободное место. Мне удалось найти целое пустое купе. Я устроился в углу, у окна, и поставил шляпу над собой, на полку. И тут же сон начал меня одолевать. Не знаю, спал ли я. Я чувствовал себя так, словно меня сбило с панталыку все то, что я услышал от него в магазине. Больше всего меня озадачило, почему, когда он подал мне тот винт, который, как я уже говорил пану, вообще не падал у меня, он неожиданно спросил:

– Вы на чем-то играете?

– Нет, – ответил я ему тогда.

– Тогда вы не в состоянии все это понять. В юном возрасте я немного научился на виолончели. Позже открыл свой магазин и шляпы поглотили меня. Только когда умерла моя жена, я вернулся к игре. Сегодня не смог бы прожить и дня, если бы у меня не было надежды, что когда приду вечером домой, возьму в руки свою виолончель. Трудно сказать, что я играю, просто играю. О, виолончель, – вздохнул он. – Она может затронуть самые чувствительные струны в мужчине. Как будто в звуках скрыто самое глубокое, непостижимое. Каждый вечер, если, конечно, что-то мне не помешает. Хотя, пожалуй, уже нет ничего, что, так сказать, могло бы меня беспокоить. Я живу только ради этих вечеров. Прихожу сюда, сижу, вроде как что-то продаю, а время от времени вытаскиваю часы и отсчитываю время, сколько еще осталось до вечера, – и он даже вытащил из кармана жилета большую «луковицу»²⁹ на цепочке. Пан, надеюсь, помнит, что раньше карманные часы называли «луковицей». – О, много еще, много, – сказал он разочарованно. – Хуже всего зимой. При каждом выдохе выпускаете пар. А что поделаешь? Уголь – по карточкам и его нужно экономить. Но я не жалею. Надеваю шерстяные перчатки, в которых отрезал кончики пальцев, ноги укутываю одеялом, на голову надеваю шерстяной подшлемник, хотя в квартире не принято носить головные уборы, но, что делать, надеваю шляпу и играю. Я стараюсь не пропускать ни одного вечера. Не позволяю ни одному вечеру пройти мимо меня. Не могу отказать себе в этом. Когда слова бесполезны, мысли тщетны, а воображение не хочет больше фантазировать, остается только музыка. Только музыка для этого мира, для этой жизни.

И вот я спал, не спал, находясь где-то между бессонницей прошлой пьяной ночи и этим его вопросом, не играю ли я на чем-либо. Но какой это был сон, как пан и сам, наверное, уже догадался. Только-только глаза закроются, а ты уже проснулся. После нескольких минут этого сна или не сна поезд подошел к зданию главного вокзала, откуда он,

²⁹ Применение с последней четверти XVII века в механизме часов спиральной пружины повлияло на форму корпуса — он стал более выпуклым, поэтому часы называли луковицей. Но не все карманные часы именовались луковицами. Луковицей называли часы в золотой «скорлупе», которая могла быть литой, а могла быть резной, но главным в ней была ее гладкость крышек, ладность, удобство носить в кармане. Простую луковицу выбирали в основном деловые люди — коммерсанты, буржуа, путешественники, в то время как, например, более сложные карманные часы в форме креста, цветка или даже крохотного пистолетика предназначались аристократам или священнослужителям.

собственно, и начинал свое движение по маршруту. Толпа людей бросилась к нему на посадку, а пан, наверное, знает, что в то время в каждое купе вели двери с одной и другой стороны вагона. Больше не было и речи о том, чтобы поспать. И не только о том, чтобы поспать. Даже думать о чем-либо было уже невозможно. Вдобавок ко всему мне теперь пришлось присматривать за шляпой. Кроме того, пан знает, каково это – с мыслями в поезде. Они просто разрываются от стука колес. И когда поезд подъезжает к разъезду, все ваши мысли разлетаются в клочья. Они рвутся и на станциях, потому что надо бы выглянуть в окошко, или кто-нибудь спросит, что это за станция. Не говоря уже о том, что мало когда так бывает, чтобы люди в поезде не болтали. Люди тем временем приходили и приходили, мало кто выходил. Было такое ощущение, что на каждой станции они только и делали, что садились, садились. Садись, это можно было бы сказать сегодня. А тогда они толкались, пихали одного через другого и всех сразу. Да к тому же с узлами, свертками, чемоданами, корзинами, пакетами, мешками... И все это с трудом вмещалось в ограниченное пространство купе. Кондукторам приходилось проталкивать людей в двери, чтобы они закрылись. И так на каждой станции. Казалось, что у поезда нет сил на такую толпу, вот почему он идет так медленно, иногда останавливаясь даже в глуши. А на станциях он стоял и стоял, все больше опаздывая. Иногда ему приходилось ждать, пока не пройдет встречный поезд, и это тоже замедляло его движение. Позвольте сказать пану, я даже чувствовал что-то вроде сочувствия к этому поезду, потому что ему приходится везти грузы за пределами его сил и возможностей.

Только в ту сторону, когда я ехал за шляпой, и меня мучили сомнения, смогу ли купить такую, как хотел, коричневую фетровую, злость донимала меня, даже когда он на станциях останавливался. Теперь шляпа лежала надо мной на полке, и медленнее ли, быстрее, мне было все равно. У меня было ощущение, что я никуда не еду и мне не нужно никуда добираться. Иногда я даже терял ощущение того, что еду на поезде. Смотрел в окно, а мимо проплывали поля, леса, реки, холмы, долины, здания, возчики, лошади, коровы, люди... Все это сливалось в однородный серый цвет, и только поднимающиеся и опускающиеся, поднимающиеся и опускающиеся провода, нанизанные на столбы по ходу движения поезда, придавали этому серому цвету ритм, подтверждающий, что это все-таки живой мир. Я был как бы вне себя. Пан говорит, это невозможно – быть вне себя. Но разве человек не может хотя бы ненадолго покинуть себя? Почему? Где бы он тогда был? Ну не знаю. Но, возможно, пан прав. Особенно если учесть, как можно уйти от себя, когда шляпа на полке над вами.

На одной из станций я переложил свою шляпу на противоположную полку, чтобы она была на виду. И правильно сделал. Вскоре людей в купе набилось так много, что они стояли, тесно прижавшись друг к другу в небольшом пространстве между скамьями. Воздух почти не доходил до меня, когда я сидел вот так, в углу. Рядом со мной стояла огромная женщина, а точнее, надо мной, мне пришлось даже втиснуться в скамейку, так она меня прижала. Я бы ни за что не смог поднять голову из-под нее, если бы захотел проверить, лежит ли шляпа на полке надо мной. А напротив, через узкие щели между телами, каким-то немыслимым образом можно было увидеть, что она – там, на месте. Поезд был уже так переполнен, что казалось, больше никто не поместится. Но тут – очередная станция. И – новые узлы, свертки, чемоданы, корзины и так далее. Ну и люди с ними. Пану, может, трудно это понять, если он никогда не ездил таким поездом. То ли поезда так растягивались, то ли люди так мельчали. Да, человек может быть и Бог вещь чем, крошкой, если нужно. Мне пришлось защищаться руками от тех, которые садились. Глубже втиснуться в скамью я уже не мог. По моим ногам, хотя я, как только смог, убрал их глубоко под скамейку, топтались нещадно. Иной раз я даже шипел на входящих: «Осторожней!». Казалось, вся злость, что врывалась в поезд вместе с людьми, что садились на него, падала на меня, потому что я сидел у самой двери. Вдобавок ко всему поезд, словно назло мне, чаще всего останавливался у платформы на моей стороне вагона.

– И пусть во все это наконец-то хорошенько ударит молния! – первый, открывший дверь, бросал в мою сторону.

Не важно, кто входил за ним, женщины, мужчины, все они, без исключения, сразу, от двери, так же бросали в мою сторону:

– Боже милостивый, чтобы так людей мучить! Мало того, что война нас мучила, теперь поезда!

– Но ведь Он велел нам ждать! Нам! Ждать...

– Мы ждем всего, всего, почему бы и поезда не подождать!

– И почему он так опаздывает!

– Да когда он прибывал вовремя? Я езжу почти каждый день и ни разу, ни разу. Черт возьми!

– Не ругайтесь, Бог все слышит. Как будто Он оставил нас...

– При чем здесь Бог? Бог – не начальник станции и не дежурный по ней. Это те сукины дети в красных шапочках со своими «веслами»³⁰!

Я воспринимал все это так, как будто все они обращались именно ко мне, потому что у меня не было никаких претензий к поезду. Шляпа на полке, я не торопился, на что мне обижаться? Мало того, что возмущались те, кто только что сел в поезд, они поощряли недовольство тех, кто садился на предыдущих станциях и, казалось, уже смирился с поездом.

На одной из станций вошел мужчина невысокого роста, с небольшим чемоданом, я помог ему сесть, когда он с большим трудом протискивался в уже под самую завязку набитое купе. Он вдруг спросил меня:

– Не знаешь, что-то случилось? – я пожал плечами. – А вы не знаете? – но никто не ответил ему, тогда он снова повернулся ко мне: – Ты здесь самый молодой, да?

– Прекрати, – упрекнула его огромная женщина надо мной. – Зачем ты просовываешь сюда свою голову?

– Нет, ничего, простите. Я просто хотел узнать, не ремонтируют ли где-то пути, – начал он объяснять. – Или, может быть, мост.

– Ничего не чинили, все работает, поезд идет.

– Идет и так опаздывает? – он не хотел в это верить. – Даже во время войны поезда...

– Надо бы спросить того, кто с самого начала едет, – перебил его кто-то. Он подхватил: – Уважаемые, кто едет с самого начала?

Люди стали оглядываться друг на друга, словно выискивая виноватого. Я не признавался. Попытались вспомнить, кто на какой станции сел и кто уже был в купе. Вы? Мадам? Я бы голову отдал, что этот пан. Кажется, та дама. Как это «не вы»? Я запомнила вас. Да, вы, вот здесь она сидела – там, где вы сидите. Нет, этот пан уже стоял здесь. Я вошла, он стоял. О, вы тоже были. Я? Ну, нахал. Это вы уже были. Я даже подумала, не уступите ли вы мне место. Но кто сегодня уступит место кому-то, даже женщине. Боже, что случилось с людьми после этой войны. Боже, что случилось.

Похоже, вот-вот могла начаться драка. К счастью, поезд остановился на очередной станции и в купе втиснулся еще один пассажир, только один, зато с несколькими узлами. Он сначала бросил эти узлы прямо людям на головы и только потом протиснулся. При этом он толкнул всех, в том числе и тех, кто стоял на другой стороне купе, настолько плотно оно было забито. Он не ругался, не матерился, он просто бросил на все купе злобный взгляд, словно всех едущих обвинял в том, что поезд опоздал. Хотя полки под самую крышу вагона были завалены багажом, он, не церемонясь, начал класть на них свои узлы, сдвигая что-то в сторону, перекидывая, бросая друг на друга. При этом он ни у кого в купе даже разрешения на это не спросил. И все молчали, словно не обратили на это внимания.

³⁰ Имеются в виду дежурные по станции с красной форменной пилоткой (или форменной фуражкой с красным верхом) и ручной диск, окрашенный в белый цвет с черным окаймлением, которым они давали сигнал к отправлению локомотивной бригаде.

Купе успокоилось и, само собой разумеется, народ перестал выяснять, кто перед кем сел, никто никому, и ему в том числе, даже шепотом не сказал ни слова, что сюда и на это класть нельзя. Возможно, они знали его по этому маршруту. Мне трудно сказать. Не знаю, как он догадался, что завернутый в бумагу и перевязанный бечевкой пакет – это шляпа.

– Чья это шляпа? – грозно спросил он.

– Моя, – признался я немного погодя

– Тогда почему она здесь? Переложи ее на свою сторону. Где сидишь, там и место для багажа.

Он переложил шляпу на мою сторону, поставив ее прямо под крышу вагона, на чей-то чемодан. Разложив наконец-то свои узлы, велел людям на скамейке убираться, потому что не собирается стоять всю дорогу. С трудом, с большим трудом, люди потеснились, не говоря ему в ответ ни единого слова. И когда он сел, подвигав боками, еще больше расширил пространство для себя. Потеснил соседа справа, потеснил соседа слева, буквально вдавив их уже в их соседей, но и тогда никто не сказал ни слова. И в этот момент поезд тронулся.

– Поехали, – сказал он. – А если поехали, то и приедем, – после чего еще удобнее устроился на скамье и, как бы сам себе, снова сказал: – У меня до войны тоже была шляпа. Коричневая фетровая. Да, она тогда и стоила. Я пошел в партизаны, и ее сбило с меня пулеметом. Мы в них, они в нас и по шляпе, – и оглядел купе чуть более мягким взглядом, словно снимая со всех вину за опоздавший поезд.

Он опустил голову на спинку скамьи, закрыл глаза, и через некоторое время его дыхание стало немного глубже. Поезд трясся, скрипел, постукивал на рельсовых стыках, словно на ухабах, с грохотом падал вниз на стрелках, так что его дыхания можно было вообще не слышать. Его губы не раздвинулись, а только сжимались от выдыхаемого воздуха и как будто распухали от каждого вдоха. Но я знал, что будет дальше. Каждый большой храп начинается с достаточно невинного. И про себя я нахмурился.

Храп, как уже говорил пану, я с детства терпеть не мог. Правда, все его ненавидят. Только не мочь терпеть и ненавидеть, о, это – большая разница. Не мочь терпеть можно потому, что не удастся заснуть, когда кто-то храпит. Если, скажем, вы заснули, а посреди ночи чей-то храп вас будит, после чего вы не можете заснуть до самого утра. Это обычные неудобства, связанные с тем, что вы спите с кем-то в одной комнате. Мужья, жены всю жизнь такое терпят, и это понятно, если они всю жизнь живут вместе. Смена мужа или жены – тоже не вариант, если дело обстоит именно так. Неизвестно, на кого он или она снова попадет. Но для меня дело было не только в том, что не мог заснуть, когда кто-то храпел. Или когда просыпался и не смыкал глаз до самого утра.

Когда кто-то храпел, мне казалось, что боль всей его жизни поднимается ему к горлу, а он не может даже крикнуть, что ему больно. Пан может не согласиться, но, я так думаю, что есть боли, которые раскрываются только в храпе. О, боли в человеке многочисленны и разнообразны. Так или иначе, я чувствовал его бессилие как свое собственное. Вместе с ним я как будто задыхался от этого бессилия, поэтому и не могу выкрикнуть эту боль из себя. Словно не могу вырваться из его сна, а он, в то же время, защищается от собственного пробуждения. В конце концов, человек не слышит собственного храпа, так что с собственным храпом у него нет проблем. Иногда я настолько задыхался от чьего-то храпа, что мне приходилось вставать и выходить на улицу, чтобы подышать воздухом.

Уже в школе, правда, в школе только кое-кто и то – слегка, начинали похрапывать. Даже если жизнь уже начинала доставлять человеку какую-то боль, она еще расплывалась по сну, не так давила на горло. И сон становился намного крепче, сдерживая все боли. Хотя иногда я все-таки просыпался, даже когда кто-то только слегка похрапывал.

Потом, когда я начал работать и жил в основном с людьми намного старше меня, вот тогда храп стал моей мучительной болью. Поверьте, я боялся каждой наступающей ночи. Мы готовились ко сну, а меня вместо сна охватывал страх. Естественно, я мог разбудить того или иного, когда он храпел уже невыносимо. Но он переворачивался с боку на бок

или с одной стороны на другую, и через некоторое время снова начинал храпеть. Я пытался думать о чем-то, чтобы не так сильно слышать этот храп, но все мои мысли разбегались от меня в разные стороны. И я лежал как под пытками. Ад мог бы так выглядеть, в нем нет того, чем пугают священники, только пан лежит, а над паном кто-то храпит. Ад – в ушах пана, в его легких, горле, в его бессилии, которое не дает ему прокричать ни слова. Кроме того, создается впечатление, что пан сам храпит, хотя это не он храпит. Вот так и получается, что чужая боль иногда больнее, чем своя собственная.

Еще, можно сказать, что не раз я жил с настоящими могучими храпунами. Наяву человек – как высохшая груша, что потяжелее, надо было поднять, принести за него. Закисший винт приходилось ему откручивать, потому как сам он не справлялся, но вот в храпе оказывался настоящим силачом. Казалось, потолок поднимается, стены рушатся, через минуту все это упадет вниз – на нас, спящих. Сдавалось, они внутри словно кипели, и в этом кипении я тоже кипел. Храпели по-разному. Завывали, свистели, булькали, урчали, а иногда кто-то раз за разом взрывался, как снаряд. И если пан просыпался, то ему могло показаться, что, может, снова война.

На всех квартирах, как я уже говорил, всегда были старше меня. Иногда намного старше, лишенные сна войною, еще переполненные ею, так что в этом нет ничего удивительного. Иногда кто-то что-то рассказывал за бутылкой водки, от одного этого заснуть было невозможно, а тут еще и храпели. Я пытался заткнуть себе уши ватой, пластилином или вместо того, чтобы голову – на подушку, подушку клал на голову. Но это было бесполезно, так как храп шел не из моих ушей, а из чужих, из чужого сна – непосредственно в мой сон. Как будто ритм чужого сна менял ритм моего собственного. Разве пан не знал, что у снов есть свой ритм? У каждого свой. Все мы спим в ритме, как и живем в ритме. Невозможно отделить сон от жизни. Да, было бы гораздо легче, если бы это было так: здесь жизнь, здесь сон. Здесь жизнь, здесь сон.

Пан, извиняюсь, храпит? Пан не знает? Вы никогда ни с кем не спали, чтобы вам сказали об этом. Простите меня за то, что я спрашиваю такие вещи, но это нормально, по-человечески. Женщина, это уж точно, обязательно сказала бы. Женщины спят по-другому, у них другие сны. Не говоря уже о том, что также и слышат.

Как-то с четырьмя такими пожилыми жил у одной вдовы, меня подселили к ним пятым. Старшему, возможно, было больше, чем мне, раза в три больше, по крайней мере, так мне тогда казалось. Седой, как лунь. Конечно, и гораздо более молодые приходили с войны седыми, поседевшими. Иногда на собрании бригады я смотрел на головы людей и как бы видел перед собой поле побитой морозом капусты. Скажите, почему волосы – самый легкий способ узнать, через что человек прошел. Я смотрю на пана, но не вижу у него ни единого седого волоса. Интересно, как пан прожил свою жизнь. А посмотрите на меня...

Теперь многие лысеют. И никто не знает почему. А они, между прочим, совсем молодые. Пан не представляет, сколько, здесь, в коттеджах, лысых или начинающих лысеть молодых людей. А война, между прочим, уже давно закончилась. Мало кто ее помнит.

В доме той вдовы у всех четверых были волосы, но все они были седые, а старший совсем седой. И все четверо храпели, да так сильно, что когда собирались все вместе и разом начинали храпеть, вдова стучала кулаком в стену из своей комнаты. Особенно храпели, когда выпьют.

Однажды это так меня взбесило, что я подумал: ничего не остается, кроме как встать и задушить их. Но я встал и вышел во двор. Сел на пороге, закурил сигарету. Лето, тепло, начинался рассвет. Я собирался сидеть так до тех пор, пока не придет время идти на работу. А вдова вышла за мной. Она тоже не могла уснуть, хотя стена между ее комнатой и нашей была толстая, не перегородка, а оштукатуренная с обеих сторон.

– Что, храпят? – спросила. – И меня, видишь, тоже разбудили. А у меня ковер на той стене, что от вас. В войну бомбили – спала. Но храп на дух не переношу. Ты сам-то храпишь?

– Не знаю, пани, – ответил я ей. – Мне еще никто не говорил.

– Э, ты – молодой, если и храпишь, то так, немного, когда что-нибудь приснится. Уго-стишь сигаретой?

Я не курил, но как-то так получилось, захотелось.

– Да оставил сигареты.

– Жаль. Ночь такая душная, что и мне захотелось. – И одернула рубашку, потому как была в ночной рубашке и каком-то покрывале.

– Тогда, может, мою покурите? – сказал я. – На пару-тройку затяжек должно хватить. Если вам, пани, конечно, не противно.

– А почему мне должно быть противно? – она покачала головой. – Целуешь же мужчину и – ничего, не противно, – она затянулась, закашлялась, да так, что из-под рубашки выскользнула ее грудь. – Фу, какие противные сигареты. Как ты можешь их курить? Разве это не вредно для твоего здоровья? Не такой уж ты и мальчик. И слишком много работа-ешь. Я вижу, когда ты уходишь на работу, когда возвращаешься. Ты никогда не сможешь нормально выспаться из-за их храпа. В твои годы нужно больше спать. Позже – не так много. Сегодня, как я погляжу, ты, как обычно, пойдешь на работу не выспавшись. А ведь ты работаешь с электричеством. Будь хотя бы осторожен, чтобы тебя не ударило током. Ничего не скажу, удобно с этим электричеством, но когда его включаю, всегда боюсь.

– Не надо бояться, – сказал я.

– Наверное, да, – согласилась она.

Я придавил окурок и уже собирался встать, когда она встала надо мной и с высоты своего роста погладила меня по волосам.

– Пойдем, поспишь у меня. Куда ты пойдешь к ним. Я не храплю. Тебе скоро вставать на работу, но хорошо, если поспишь и этот час. А, может, и два. Кровать у меня широкая. С мужьями могла бы поместиться, но мы не хотели, поэтому даже не касались друг друга. Ты не будешь торчать здесь до самого утра. Не бойся, не опоздаешь. Я тебя разбужу.

Она взяла меня за руку и помогла подняться с порога. Наверное, все эти бессонные ночи внезапно так обессилили меня, что я не сопротивлялся. Пока курил сигарету, как-то держался, но когда закончил, мои глаза стали закрываться сами собой. Может, если бы у меня была еще одна сигарета, я прикурил бы ее...

– Да, вижу, у тебя слипаются глаза, – сказала она. – Ты недосыпаешь, недосыпаешь. Так что хорошо, если поспишь эти час, два.

Она была намного старше меня, но сегодня я бы сказал, еще совсем молодая. Пан зна-ет, как это бывает. Когда ты становишься старше, все вокруг тебя молодеет. Тем более в памяти. Иногда ловишь себя на мысли, что кто-то когда-то казался тебе старым, но тогда он был намного моложе, чем ты сейчас. Может, именно поэтому она казалась мне тогда намного старше, ведь у нее уже было два мужа, которых она потеряла. Одного она выгна-ла вскоре после свадьбы, потому что он пил, а другой умер, потому что пил. И она как раз думала, не выйти ли замуж за третьего. Он тоже пил, но был такой же вдовец, как и она, у него было двое маленьких детей, тогда у нее хотя бы будут дети, сказала она. Потому что она бы переживала, если не дай Бог, забеременеет от пьяницы. Никогда от пьяницы, ре-шила она для себя. Нет, она не перенесет этого, если они родятся на ее несчастье. Она уже видела такое. У нее была бы цель в жизни, потому что трудно жить с мыслью, что жизнь заканчивается вместе с человеком. А свой, чужой ли, все равно – ни с тем, ни с этим не знаешь, что из него вырастет. Чужой может быть даже более заботливым, потому как сердце у него оборвалось, когда оборвалось сердце его матери. Кто знает, может, был бы хороший муж? Он впал в отчаяние только тогда, когда жена оставила его с двумя детьми. И он не знал, что делать. Тогда мужчину всегда тянет к водке. Но он напивается, а потом, чаще всего, плачет перед ней, что напился. И просит: помоги мне, помоги мне. Так что, бывает, и она плачет вместе с ним.

Совсем он не похож в этом пьянстве на тех двоих, что были. Первый напивался и по-том спал, как убитый. И почти каждый день пил, а у нее фактически каждую ночь труп лежал в постели. А второй, когда приходил пьяный, сначала бил ее. И только после того,

как избивал, брал ее. Ему нравилось заниматься любовью с ней, избитой, плачущей. А третий... Выходить, не выходить...

– Что думаешь? – поинтересовалась она, когда мы уже были в постели. – Впрочем, спи. Я больше не буду спать. Не хочу, чтобы ты опоздал из-за меня на работу. Я не знаю, поэтому каждую ночь извожу себя этими мыслями. Я могу быть слишком старой для четвертого, если и этот, третий... А чем старше женщина, тем она для них все хуже и хуже. И, возможно, мне пришлось бы отправить четвертого в клинику. Или я бы его убила. А что ты думаешь, иногда другого выхода нет. Не скажу, и так бывает, что пожилой человек, уважаемый, не пьющий. Но он может начать пить и после свадьбы, к тому же смерть к нему – все ближе и ближе, и ко мне, между прочим, раз я с ним. И умру с пьяницей. Страдать потом из-за этого его пьянства. А о новом муже уже поздно будет думать. Вот видишь, как бывает, когда выходишь замуж за одного, а потом приходится жить с другим, – она вздохнула и теплая волна хлынула от нее на меня. – Ну, спи, спи. Тебе скоро вставать на работу.

Мне хотелось спать до такой степени, что даже не знаю, может, я уже был в полудреме. Но слушал ее, тем более, она, казалось, ждала, что я скажу ей на все это. Но что я мог сказать, она пугала меня своей волей к жизни. Эти ее мужья, двое из которых уже были мертвы, и она потянулась бы своим воображением не только за четвертым, если бы третий тоже оказался после свадьбы пьяницей, но и за многими другими, до самой смерти, а, возможно, и после нее. В конце концов, я не знал, потому что – откуда, каково это – быть третьим мужем или как женщине с таким третьим.

– Я не знаю, что вам, пани, сказать, – ответил.

– Что ты говоришь мне пани? – пробурчала она, и волна тепла снова хлынула от нее на меня. – Лежишь со мной в постели и пани. При них только зови меня пани. И я тебя ни о чем не спрашивала. Я сама должна. Что ты можешь знать, – и она сунула руку мне под голову, прижимая к себе. – Ты первый раз с женщиной? Я так и думала, потому что ты лежишь, как в гробу, и напряжен. Ну, спи, спи. Сегодня все равно ничего из этого не вышло бы. Тебе нужно немного поспать, прежде чем идти на работу. О, уже рассвет занимается. До утра еще далеко? Спи. Боже, бодрствовать вот так ночь за ночью. Из-за того, что ты настолько чувствителен к храпу? Как и я. Боже мой. Если хочешь, положу матрас у вас на кухне, а то ведь в комнате ты не заснешь, потому что они храпят. А иногда ты можешь приходить ко мне. Такого молоденького у меня еще не было. Эх, ты, голубочек, – она потрясла меня, так как я уже засыпал. Внезапно подняла голову, настороженно склонилась надо мной. – Ты правду говоришь, что в первый раз? – и с облегчением опустилась обратно на подушку. – О, меня осенило! Видимо, за этих пьяниц Бог наградил меня, – и она с силой прижала мою голову к своей груди. – Даже не знаю, как с таким, который в первый раз. С собой знаю, испытывала. Но... Плохие воспоминания. Ты, наверное, ничего не умеешь. Не волнуйся, всему научу тебя. Только не дай им, упаси Господь, уговорить тебя выпить. Раз, два можно. Один или два тебе не повредит. Но не больше. Слишком много – плохо для мужчины. Да и женщине это не идет на пользу. Хотя женщине – не так. У меня были эти пьяницы, знаю. Думаю: куда тебе класть матрас. Пожалуй, придвину стол к стене. Наконец-то выспишься. Тебе не нужно приходить ко мне каждую ночь. Если не будешь работать. Я ведь тоже не каждую ночь хочу. Но сейчас спи. Сегодня мы – как семья. Брат с сестрою. Я могла бы быть твоей старшей сестрой. Почему бы и нет? И не такая разница бывает. Хотя иногда, говорят, что и брат с сестрой. В этом мире уже нет ничего святого, – она погладила меня, поцеловала в лоб, прижимала к себе, пока мой нос не уперся в ее мягкую, пухлую грудь. – Эх ты, ты.

Скажу пану, я начал ее бояться. Может, потому что... Что я тогда знал о женщинах? Если бы не был таким сонным, может, встал бы, типа мне захотелось покурить, пойду, принесу сигареты. Но у меня не хватило смелости встать.

– Спи, спи, – она снова прижала меня к себе. – Не одна ночь впереди. У нас будет много ночей! Спрашивала вашего начальника, он сказал, что вам еще долго здесь сидеть.

Это мы с тобой еще обсудим. Дверь из кухни я приоткрою, чтобы тебе не пришлось поворачивать ручку. Завтра скажу, пусть петли в них смажут. А теперь спи. Не буду ворочаться, буду смотреть, как ты спишь. По тому, как человек спит, иногда можно понять, кто есть кто. Один – как ребенок, а другой – не приведи Господь. Во сне все по человеку видно. Переворачивается ли он с боку на бок или всю ночь на одном спит лицом к стене, или на другом – лицом к тебе, по этому и можно понять. И не только по этому. Сворачивается ли он в клубок, как будто к мамочке своей прижимается. Самые страшные спят на спине, как мои алкаши. И один, и другой – на спине. Мне приходилось переворачивать их на бок, чтобы они не так сильно храпели. Как подумаю о них, так сразу сон уходит, как бы до этого не хотелось спать. Надо думать о чем-то приятном, если хочешь заснуть. Вот только где взять столько хорошего, чтобы на каждый сон хватило. В основном в голову лезут не самые приятные мысли, уж в них-то никогда нет недостатка. О, кажется, солнце встает. Занавеска на окне посветлела. И Господа нашего Иисуса Христа уже можно увидеть. Его всегда можно увидеть, когда солнышко встает. Но ты успеешь хоть немного поспать. Я разбужу тебя так, чтобы ты прямо перед ними встал. Пойдешь одеваться, как будто по нужде только что вышел и вернулся. Спи. Долго, конечно, поспать не удастся. Но хоть не будешь таким уставшим, как если бы вообще не спал. А ведь ты еще и с током работаешь. Матерь Божья, хоть бы тебя не зацепило. Матерь Божья. Меня, как-то гладила, так зацепило. Потрогала утюг, чтобы проверить: горячий ли он. И у меня по руке пошли судороги. Я была в ужасе. Пододеяльник прожгла. Слышала, что от этого электричества можно заболеть. Правда, что ли?

Даже не знаю, сказал ли я ей, что это неправда, или мне приснилось, что сказал.

– Не скажу, с таким утюгом удобно. А то ведь сколько усилий нужно приложить, чтобы разжечь угли, раздувать их. Как-то сожгла себе брови, пришлось их зачернить. С тех пор постоянно черню. С отпариванием – не легче. Утюг тяжелый, а как отпариваешь, быстро стынет. Каждую секунду нужно ставить утюг на огонь, снимать его. Надо, чтобы постоянно был огонь на кухне. Раз горящая головешка упала мне на ногу. Хорошо, что была в сапогах. А теперь... Включил его – и все дела. Да, удобно. Вот только, если бы не болезни... Не приведи Господь. Но что заранее думать о болезнях. Если они придут, тебе станет лучше, хуже или сразу умрешь. Хорошо бы сразу. Без электричества когда-то тоже наступает время болезней. Так устроена жизнь. Пока что я предпочитаю думать, каково мне будет с тобой. В первый раз. Пресвятая Дева Мария. Мне даже страшно как-то. Неужели эта кровать когда-то дождется этого. Мне только надо бы украсить постельное белье. Украшу его вышивкой. И одеяло, и подушки. Я сама их вышивала. Ждала своих пьяниц по вечерам и что могла делать? Вышивала. Но не для них. Еще чего. Пустила бы я их на вышитое. И простыню нам куплю новую. Просто искупайся. Ваш начальник сказал, что у вас там есть душ. Я не говорила об этом с тобой, но знаю, как мужики моются. Тебе нужно следить за собой. Я тоже искупаюсь. Схожу в баню. Намылюсь, может, надушусь духами. Сделаешь мне розетку у кровати? Хочу купить ночную лампу. Мы могли бы иногда зажигать свет. А то все в темноте да в темноте. Хотела, чтобы свет был. Где-то читала, что так – гораздо приятнее. Я люблю иногда почитать. Если тебя не будет, могла бы читать в постели. Или думать. Наверное, при свете в голову приходят более приятные мысли. А ты не думай, спи. Я знаю, о чем ты думаешь, но времени осталось совсем немного. Его не хватит. Так что лучше и не начинать. Встанешь, а тебе еще хуже будет, чем от недосыпания. На ногах еле стоишь, да и в голове – полный кавардак. Уже день, а ночь как будто и не хочет уходить. Готовишь, стираешь, а все темно. Все делаешь как бы на ощупь. И ты будешь сердиться на меня. А я не хочу, чтобы ты сердился. Сердишься, значит, кто-то должен быть виноват. А так получается, что всегда и во всем, как правило, виновата женщина. Разве не так? Если не получится у тебя, не успеешь, опять я буду виновата. Но ты не волнуйся, я научу тебя, ты узнаешь – как. Всегда бывает первый раз. Ты еще ничего не умеешь, поэтому это было бы: раз, два и – все. А я так не хочу – раз, два и все. Надоели мне такие раз, два и все. Меня насиловали солдаты, я знаю, что это такое – раз, два. Толь-

ко медали надо мной летали, а пятеро их было. Мне даже плакать не хотелось. Что я тебе скажу. Тебе не нужно знать, каким был мир еще вчера. Может быть, ты пришел в лучший. Ты хочешь быть в лучшем. Если мужики хотят, пусть воюют, но пусть женщины и дети не расплачиваются за их войны. Хотя мои пьяницы и не солдаты, они тоже были не лучше. Приходили пьяные, без чувств, и было примерно то же самое – раз, два, и уже спят. Раз, два, как будто он мстит тебе. Солдат ли, муж ли. И за что? Что мир создан таким, что должно быть двое? А ведь он создан для любви. Без любви нет того, ради чего и стоит жить. Просто спать, есть – зачем? Делать что-то для кого-то – зачем? Кому бы тогда хотелось делать что-то для кого-то? Как-то читала книгу, что кто-то от любви к женщине умер. Сердце у него не выдержало. Ты согласишься, сердце. Сердце все вбирает в себя. И когда оно вбирает в себя слишком много, оно не выдерживает. Ты не спишь?

Я уже спал, она разбудила меня. Видимо, спал не слишком глубоко, как говорится, как заяц под межой. Потому что не был уверен, что она разбудит меня вовремя, к работе. Может и так случиться, что как раз заснет, когда надо будет вставать. Я вроде спал, но был настороже.

– Дай-ка посмотрю, как бьется твое сердце, – и она положила руку мне на сердце (кто бы от этого не проснулся?!). – Немного нетерпеливо, словно торопясь. А теперь положи на мое, – она взяла меня за руку, положила ее себе на грудь, от чего, думаю, и камень проснулся бы. – Чувствуешь, сколько всего накопилось? Но может ли женщина так умереть, не знаешь? Откуда ты знаешь? Мир несправедлив к женщине. Возьми меня за руку, – и она сама вложила свою руку в мою. – Сегодня – нет, я сказала. Слишком поздно, и тебе нужно немного поспать.

Это должно начинаться, когда ночь только наступает и при этом даже не думать, что завтра нужно вставать. Как будто ночь будет тянуться и тянуться, а день никогда не наступит. И тела должны дольше лежать рядом друг с другом... Они должны почувствовать друг друга как свои собственные, прежде чем... Привыкнуть друг к другу, привыкнуть друг к другу. Потому что они тоже полны страха. Ты думаешь, в моем его нет? Да может даже больше, чем в твоём. После того, как эти солдаты, эти мои пьяницы, я каждый раз пугаюсь. Думала, что больше никогда не буду женщиной. Даже хотела не быть. Думала, буду вышивать, читать, петь, иногда плакать. Радио хочу купить, говорила тебе? Записалась в магазине. Дадут знать, как придут. Я бы слушала. Но мужчина – это всего лишь мужчина. Траур еще не прошел после моего второго. В черном я еще ходила, а тут чувствую, сердце опять начинает биться учащенно. Зашла в церковь, гляжу, мужчины на меня смотрят, не только те, что старше, а моложе меня. Здесь я молюсь, и здесь же чувствую, как они раздевают меня глазами. Мне стыдно, потому что в церкви, где Бог на нас смотрит, а мне приятно. Один пекарь, я покупаю у него хлеб каждый день, но в пекарне как-то не замечала, а здесь, вижу, он поет и смотрит на меня время от времени, а меня от этого дрожь пробирает. И сердце – бух, бух, колотится, чувствую. Спасибо, Господи, что Ты дал мне мое тело. Мне было хорошо. И в черном мне было хорошо. Все говорили мне, что я должна ходить в трауре. Я заказала заупокойную молитву по моему пьянице. Пусть отслужат. Он оставил мне кое-что. И этот дом. Не все пропил. Может, не стоит мне читать книги, как думаешь? Иногда много читаю, а потом думаю о себе, что моя жизнь... Потому что даже когда печальнее, чем твоя, иногда человек может измениться. О, как оно бьется у меня. Как будто оно тоже может не выдержать. Ты не спишь? Ты не можешь посмотреть, может, это просто мое воображение. Как будто оно хочет перепрыгнуть в следующую ночь или, может, к тебе прямо сейчас. Но сегодня – нет. Ночь почти закончилась. Тебе нужно немного поспать. Так – раз, два, я могу сделать тебе еще хуже. Не раз думала, так страшно они храпят, ты, наверное, не спишь. Но как-то не решалась спросить, не хочешь ли ты спать на кухне. И мучилась вместе с тобой, потому что они меня тоже будили. Почему-то сейчас их не слышно, да? Как только ты переехал, я сразу поняла, что у тебя еще не было женщины. Ты поцеловал мне руку, помнишь? Это смягчило мое сердце. Неужели такие невинные еще где-то сохранились, подумала. Первый раз не может быть так: раз,

два. Первый раз – все как в первый раз. Кроме смерти. Потому что после нее нет больше воспоминаний. Но пока ты жив, ты можешь плохо обо мне вспоминать. И всех остальных ты тоже будешь плохо вспоминать. Потому что со всеми ними тебе будет плохо. Ты бы, может, начал пить, и дальше все с тобой стало бы плохо. С самим собой тебе было бы плохо. Всю жизнь тебе было бы плохо. Ты остынешь, и тебе будет плохо. И я была бы виновата. Вся жизнь изменится, стоит на одну ночь задержаться. Ты не пожалеешь. Я вознагражу тебя. О, уже рассветает. Спи, спи.

Должно быть, я наконец-то заснул окончательно, потому что вдруг почувствовал, как она меня тормозит.

– Вставай. Опоздаешь на работу. Вставай. Какой же ты соня.

Больше всего меня удивило, когда она сказала:

– Ты храпишь точно так же. Но тебя приятно слушать. В тебе это тоже накопилось. И когда? Когда, Пресвятая Богородица?

Но вернемся к тому путешествию, потому что я еще не закончил. Поезд шел, я ехал в поезде, а шляпа лежала на противоположной полке, так что она была у меня на виду. Она больше не лежала там, говорит пан?

Действительно, он переложил ее на полку на моей стороне. На какой-то станции поезд снова остановился, никто не сел, только кто-то заглянул в купе, увидел, что оно переполнено, и захлопнул дверь, отчего его глаза открылись. Он оторвал голову от спинки сиденья, оглядел людей, те ли они самые, потом багаж, тот ли он, потянулся головой к окну и сказал:

– Ага, значит, мы уже здесь.

Казалось, сон у него прошел. Однако, едва поезд тронулся, глаза его снова начали смыкаться, но все же он как будто не решился: спать, не спать. И только когда поезд, набрав скорость, покачнулся, и голова у него как будто сама собой опустилась, он откинулся на спинку скамьи, рот его раскрылся, и из него раздался грохот телеги, катящейся на железных ободьях где-то далеко по булыжной мостовой. В какой-то момент его голова опустилась со спинки сиденья на плечо соседа слева. Хотя сосед без возражений поддерживал его голову на своем плече, когда поезд вошел в поворот и купе затряслось, он сам, не прерывая сна, переложил голову с плеча соседа на плечо соседки по правую руку от себя. Соседка так же кротко приняла его голову на свое плечо. Качающийся, как колыбель, поезд, должно быть, так глубоко его усыпил, что его голова соскользнула с ее плеча на грудь. Грудь у нее были примерно такие же, как две его головы. Не только большие, но и как бы независимые, автономные от всего остального. Есть такие женщины, которые, кажется, и созданы только для того, чтобы носить свою грудь. Могло даже показаться, что это ее груди раскачивают поезд, особенно, когда поезд натыкался на поворотные стрелки. Что же будет, если он уснет на этой груди? Женщина однако втянула в себя, насколько смогла, воздух, передохнула, снова набрала, передохнула, видимо, полагая, что от того, что ее грудь поднимается и опускается, он может проснуться. Но, судя по всему, он крепко спал, поэтому, словно в панике, она вдруг выпалила:

– Господи, да что это с паном?

Кажется, он услышал. Правда, он не раскрыл глаз и рот у него по-прежнему был открыт, но, не просыпаясь, перевел голову с ее груди на спинку скамьи. А потом все началось. Не сразу. Сначала он словно потерял дыхание. Глаза у него были и дальше закрыты, а рот еще шире раскрылся, но из него не доносилось ни звука. Ничего, полная тишина, можно было подумать, что он умер. Люди в купе стали смотреть на него, на себя, друг на друга, но все боялись что-то сказать. В конце концов, кто-то осмелился, полупшепотом, может, желая унять собственную тревогу:

– О, у того, кто так спит, впереди еще много ночей.

Осмелился и кто-то другой:

– В партизанах был, вы слышали. Там, знаете ли, не спят.

А кто-то добавил к его словам с уже гораздо большей смелостью:

– Ему шляпу прострелили. Должно быть, был храбрым.

К своему несчастью, заговорила женщина, на груди которой он пытался заснуть:

– Мой, когда напьется, тоже так спит.

Кто-то возмутился этим:

– А здесь человек трезвый, вы и сами видите. Просто спит, спит, после многих ночей, а, возможно, и лет бессонницы.

В купе воцарилась тишина. Казалось, все замерли. Долгое время слышно было только шум поезда и все более громкий храп мужчины. Прошла одна станция, потом другая, после чего кто-то, видимо, желая подвести итог разговору, сказал:

– Может, он так устал, что неудивительно: где бы он ни приклонил голову, спит, как убитый.

– Кто сегодня не в беде, пан? – кто-то бросил. – Кто не в беде?! Ничья жизнь не может быть свободной. О, эти три мешка – мои, но у меня больше нет сил, как раньше.

Кто-то бросил проклятие:

– Беда, мать его!

И они начали спорить о том, кто из них в более бедственном положении.

– Приведу собственный пример... – кто-то уже обдумывал слова для более обстоятельного объяснения, как вдруг у мужчины в горле забулькало. К счастью, поезд тряхнуло на стрелочном стыке и тем прервало бульканье. Правда, ненадолго. Когда мужчина снова вошел в свой ритм, из его рта вырвался тяжелый вздох, словно из глубины души. После чего, так и не просыпаясь, он еще крепче прислонил голову к спинке сиденья и стал не то свистеть, не то хрипеть, но уже слышалось отдаленное бормотание, которое практически с каждым его вздохом становился все быстрее, ближе и громче. Так что даже показалось, что этот, до сих пор тянувшийся поезд, с каждым его вдохом начал набирать скорость. И после дюжины или около того таких вдохов показалось, что состав мчится, мчится, что он даже перестал дребезжать на рельсовых стыках, а на поворотах подпрыгивает так, будто мы направляемся прямо к какому-то водопаду, с которого мгновение спустя упадем в пропасть.

Страх сжал меня, я почувствовал боль в груди. Пусть пан мне поверит, никогда раньше не слышал такого храпа. Этот стремительный водопад, к которому мы приближались, разрывал мне голову, давил на грудь, мои ноги сами начали подпрыгивать, и у меня не было сил их контролировать. Я чувствовал, как вместе с его храпом и из меня выходило что-то вроде глубины бытия. Возможно, все в купе почувствовали это, потому что никто не осмелился даже подтолкнуть его или хотя бы сказать: эй, пан, не храпите.

Я прижался к окну, надеясь, что оттуда придет спасение. И, к счастью, через некоторое время этих мытарств поезд подъехал к моей станции. Не дожидаясь, пока он остановится, я толкнул дверь и выпрыгнул на ходу.

– Эй! Что такой нетерпеливый?! – обругал меня дежурный по станции, стоявший неподалеку, на перроне. – Он себе руки-ноги переломает, а железная дорога отвечает! Да еще, скорее всего, и без билета! Ну-ка, подойди сюда, покажи билет.

Я подошел, все еще на нервах от храпа того мужчины, полез в карман, но билета в нем не оказалось.

– Ну, что я и говорил, – почти торжествовал дежурный. – Без билета, а еще и выскакивает до полной остановки.

Я стал искать билет по другим карманам, а он тем временем дал сигнал к отправлению поезда, так что, когда я, наконец, нашел билет, поезд уже набирал ход.

– Есть, – сказал я. – Вот, пожалуйста.

– Сейчас проверим, действителен ли он, – и начал махать рукой кому-то там, в уходящем поезде. Я невольно посмотрел по направлению его машущей руки, из окна в поезде ему тоже кто-то махнул в ответ, и вдруг сердце мое остановилось. В поезде уезжала моя шляпа. Господи! А как раз мимо нас проходил последний вагон. Я бросился за ним изо всех сил. Уже добежал до поручней последней двери. Уже дотянулся до поручней, когда

они резко дернулись, подталкиваемые ускоряющимся поездом, и вырвались у меня из рук. Но я продолжал бежать, меня уже несли не ноги, а отчаяние от того, что моя шляпа была там, в уходящем поезде. Мне снова удалось догнать последний вагон и, снова протянув руку, я попытался ухватиться за поручень и, вот, вот, вот уже... Мне казалось, что я цепляюсь за него, осталось только оторваться от платформы и запрыгнуть на ступеньку, но поезд сильно дернулся, и меня отбросило обратно, на платформу. Я бежал и дальше, но поезд набирал ход и последний вагон удалился от меня все дальше и дальше.

Я задышался, ноги подгибались подо мной, но также, бегом, я бросился к дежурному. Он все еще стоял на перроне. Возможно, его остановило любопытство, смогу ли я запрыгнуть в поезд. Но, думаю, он предвидел, что не смогу этого сделать, потому что встретил он меня угрожающе:

– Что, билет, наверное, был до этой станции, а хотел еще и дальше, уже безбилетником, да?

– Нет, там моя шляпа, – выдохнул я, задыхаясь.

– Какая шляпа?

– Коричневая фетровая. Остановите поезд.

– Остановить поезд? Да ты с ума сошел! – и он отвернулся, направляясь к зданию вокзала.

Я преградил ему путь.

– Остановите поезд.

– Он ушел! – Дежурный глубже надвинул фуражку на голову и попытался оттолкнуть меня.

Я вцепился в его мундир и стал трясти его, пока лицо у него не стало таким же красным, как и красная форменная фуражка у него на голове.

– Остановите! Остановите! – кричал я ему в лицо.

– Отпусти! – прорычал он, пытаясь вырваться от меня. Но я, как когтями, вцепился в его мундир и снова тряс его, пока фуражка не надвинулась ему на лоб. – Отпусти, черт возьми! Черт возьми! Это что, ограбление? Эй! – крикнул он в сторону железнодорожника, который шел с длинным молотком, постукивая по рельсам. – Позови наших! Какой-то псих вцепился!

Но не успел он взобраться на платформу, как из здания вокзала выбежало несколько железнодорожников.

– Не отпускайте! Держите его! – кричали они.

– Это он меня держит! – выкрикнул разъяренный дежурный. – О, как он, черт возьми, меня держит! – бросил он подбегающим, словно с оскорбленной гордостью. – О, как он меня держит!

Один из железнодорожников схватил меня за руки, пытаясь оторвать от мундира дежурного. Тщетно, как будто я держал его не руками, а когтями.

– Какой он, черт возьми, сильный. И такой говнюк.

На что этот, с длинным молотком для постукивания по рельсам, предложил:

– Я ударю, сразу отпустит. Бить? – и уже поднял молоток.

– Подожди, – прорычал все еще разъяренный дежурный. – Сам отпустит. Придет в себя и отпустит. Шляпу оставил.

– Где оставил? – спросил кто-то из железнодорожников.

– В поезде, – сказал дежурный. – Хотел, чтобы я поезд остановил.

Все покатались от смеха, а мои руки сами по себе оторвались от его мундира.

– Остановить поезд – все равно, что остановить землю, – сказал один из них, перестав смеяться.

– О, да он бы уже не остановился, – добавил железнодорожник с молотком и даже вытянул голову, глядя вслед исчезающему поезду. – Он уже проехал будку путевого обходчика.

И снова все разразились смехом. Этот смех разнесся по всему перрону, и мне даже показалось, что прокатился где-то высоко надо мной.

– А где же его голова?

– Может, он и голову там оставил?

И смеялись так, как будто на железных дорогах никогда раньше не случалось ничего смешного, кроме катастроф.

Кажется, один из них все же пожалел меня и сказал:

– Может, позвонить? Пусть скажут кондуктору, чтобы прошелся по вагонам.

На что дежурный, оправляя на себе сбившийся куда-то в сторону мундир, ответил:

– Как ты себе это представляешь? Они даже билеты не проверяют.

15

Все началось со сна или со смеха? Да нет, ничего, просто иногда так думаю. Вижу, это удивляет пана. А я не удивляюсь, что пан удивляется, потому что и сам удивляюсь, почему? Тем более, что даже я не знаю, с чего начать. Не ищущу никакого начала. Да и вообще существует ли такая вещь, как начало? Даже то, что человек родился, не означает, что это – его начало. Если бы у чего-то было начало, оно бы уже шло дальше, последовательно. А ничто не хочет идти последовательно. День за днем не хотят идти подряд, тот просто толкается перед этим. Недели, месяцы, годы не идут друг за другом гуськом, но, говоря военным языком, они следуют друг за другом в едином строю.

Нет, я не военный. Когда был в призывном возрасте, у меня от завода была бронь. Нет, то, что электрик, было бы слабой причиной. Тогда я играл в оркестре, я говорил пану. На саксофоне. И ни одного другого саксофониста, кроме меня, не было. Даже если захотели бы перевести кого-то с другой стройки, тоже не слышал, чтобы где-то был саксофонист.

Только, видит ли пан, иногда я пытаюсь охватить свою жизнь, а кто-то этого даже не пытается сделать?.. То есть, конечно, не всю, а только ту, эту или другую часть своей жизни, какой бы маленькой она ни была. Не говоря уже о том, что сомнительно, что любая жизнь – это единое целое. Каждая из них более или менее фрагментарна, часто разрозненна, разбросана. И такую жизнь невозможно собрать воедино, а если бы и удалось, то как это сделать?

Это не чайная чашка и, тем более, не какой-то более крупный сосуд. Возможно, после смерти можно было бы представить, как единое целое. Вот только кто это сделает? Только человек может сам себя представить. Не во всем пан прав. Ну, по крайней мере, настолько, насколько это возможно. И другой истины нет.

Действительно ли я задумываюсь над своей жизнью? Зачем мне это? Ведь это мне не поможет, ничего не изменит, ничего не поменяет. Если это и отразится на мне, не чувствую в этом необходимости. А почему жизнь не должна интересовать человека? И для этого совсем не обязательно наше согласие. Это то же самое, что и со сном. Пан видит себя во сне, даже если он и не хотел бы видеть себя во сне. А иногда пану снится то, что он не хотел бы видеть, хотя это – его сон. Пан не имеет никакого влияния и на то, как он кому-то снится. А чем иным еще является наша жизнь?

Что это за сон был? Как пану сказать? Ну, не знаю. Неважно. И хотя он приснился мне много-много позже, он как будто приоткрыл мою память этот смех, извлекая ее из цепи самых разных событий, вытесняя другие события, часто более важные, переводя их в ряд забвения. Это еще можно было бы понять. Но, в то же время, этот смех как будто был причиной сна, приснившегося несколько десятилетий спустя. И не только он, но и этот сон. Почему пан считает, что такая взаимность невозможна? Ведь я говорю пану, что не я проживаю свою жизнь, поэтому не я организую взаимность этого с тем или того с этим. Возможно, это само собой складывается. Тем более, что зачастую – в самый неподходящий момент, например, когда я иду по лесу и смотрю на землянику под ногами, когда вы-

ношу миску с едой для собак. Или я сижу у окна и смотрю на залив. Толпы людей на том, этом берегу, лодки, байдарки, надувные матрасы, головы на воде, как когда-то – кувшинки в излучине...

Действительно, я уже рассказывал пану. Крики, визг, смех. Так что все мое внимание обращено на эту землянику, на собак или на то, что кто-то тонет и зовет на помощь. Пан должен признать, это – не самые подходящие моменты для того, чтобы человек думал о чем-то другом. И все же...

Но, извините, я вас перебил. Слушаю, слушаю. Пан так думает? Нет, никогда больше никто не возвращается в одно и то же место. На самом деле этого места больше нет и, соответственно, нет даже такой возможности возвращаться туда. Почему? Потому что, на мой взгляд, заброшенные места умирают. Кажется, они скучают без нас. Не обязательно в это верить. За границей, когда я заходил в лес, там все было чужое: чужой лес, чужие деревья, чужие кусты, чужие тропинки, чужие птицы, так же, как мне казалось, что здесь я иду по местному лесу, местным тропинкам, прохожу мимо местных деревьев, слышу местных птиц. Так что я перестал ходить в лес. Все места, кроме человека, уже не те. Единственное место человека – исключительно в нем самом. Будь мы здесь, в другом месте или где-нибудь еще. Сейчас или когда-либо. Все, что снаружи, – это просто иллюзии, обстоятельства, случайности, совпадения, ошибки. Человек – сам по себе, особенно в этом, последнем для него месте.

Я неправильно понял пана? Тогда, очевидно, мы говорим не об одном и том же. Об одном и том же? Тогда почему пан только сейчас пришел? Почему не тогда? Были и другие случаи. Мне бы не пришлось притворяться до сих пор. Это правда, всю жизнь нам приходится притворяться, чтобы жить. Нет ни минуты, чтобы мы не притворялись. И мы притворяемся даже перед самими собою. Но, в конце концов, наступает момент, когда мы больше не хотим притворяться. Мы устаем от самих себя. Не от мира, не от людей – от самих себя. Просто не думали, что это – именно так.

За кого я еще принял пана? Не думаю. Сначала, может быть, и да. Потому что если пан пришел за фасолью, то за фасолью мог прийти тот или этот, и вообще неизвестно кто. Так что я мог предположить, что мы где-то уже встречались. А почему бы пану не прийти в плаще, в шляпе? Осень, прохладно уже. Того и гляди, начнутся заморозки. В это время, после сезона, кто еще может прийти ко мне, да еще так просто, как бы в гости. Время от времени егеря наведываются. Если кто-то с дамбы приедет, чтобы осмотреть местность, он может прийти, а может и не прийти. Или почтальон принесет мне письмо с деньгами от пана Роберта на первое число, потом заглянет и уйдет. Недавно он сказал мне, чтобы я не думал, что он и дальше будет привозить мне, потому что у него сломался велосипед, мне придется самому ездить на почту. А так, наверное, уже и никто больше.

Из коттеджей? Приезжают, да. Но не все приходят ко мне. На самом деле они редко приходят, знают, что все в порядке. Я не говорю о тех, которые иногда что-то себе привозят. Из них, знаете, никто никогда не заглядывает. Наоборот. Они стараются сделать так, чтобы я не увидел и не услышал, когда приезжает тот или этот. Обычно поздними вечерами приезжают. Когда они думают, что я уже сплю, потому что свет у меня выключен. Но я все вижу, слышу, только, как я говорил пану, в эти дела не вмешиваюсь. Но ведь слышу звук машины. В такой тишине, как сейчас, малейший шорох разносится по заливу. Сова ухает в безветренную погоду, так как будто кто-то стреляет где-то в лесу. Кабаны выходят из леса, слышно, как гудит земля. В общем, собаки тут же прыгают к двери, ну и мне приходится выходить, посмотреть, кто пришел. Я не подхожу слишком близко, достаточно, чтобы можно было понять, кто и в какой дом пришел, и чтобы они меня не заметили. Собак, конечно, не беру. И как только они входят в коттедж, ухожу.

Каждый должен пройти немного от парковки до коттеджа, мне этого достаточно, чтобы увидеть то, что мне нужно. К домикам запрещено подъезжать. Пан представляет, что бы здесь было? Одни дороги. Ну и пан видел, что большинство коттеджей стоят на скло-

нах. А если машины начнут скатываться в залив. Кто будет за это отвечать? Я, потому что за всем присматриваю.

В это время только один рыболов приезжает сюда на несколько дней. Что-то не было его пока, но, возможно, еще приедет. Лишь бы зима не наступила слишком рано, тогда ему с удочкой и смысла нет рыбачить. Но он тоже избегает меня. Не знаю почему. Он купил здесь домик, ближе к самой окраине, на том берегу. Ключей мне не оставляет, поэтому я не захожу к нему. В разгар сезона его здесь не увидишь, домик заперт, и он приезжает рыбачить только где-то в это время. Но рыбачит ли он – не знаю. Утром садится в лодку и отправляется в залив, когда – в ту сторону, когда – в эту. В том конце берега почти недоступны, они заросли камышом, ольхой и терновником. Он устраивается в камышах и так, на лодке, с утра до вечера. По вечерам он не включает свет, ложится ли он сразу спать, не знаю. Даже не знаю, вернулся ли он с рыбалки. И не собираюсь ходить и спрашивать его, поймал ли он что-нибудь. Если он ничего не поймал, тем более, не стоит ходить и спрашивать.

Я могу так сказать: не видел, чтобы он когда-то что-нибудь ловил. Может, не ловит рыбу? Только тогда зачем ему сидеть в лодке весь день? Даже дождь его не смущает. Закутается в плащ, наденет капюшон на голову и так сидит в лодке под дождем. У него удочка. Иногда, вижу, ловит рыбу посреди залива. Она торчит из лодки, как обычная удочка. Иногда вытаскивает ее из воды, что-то там поправляет на крючке, забрасывает, так что, думаю, это, скорее всего, удочка. Но я никогда не видел, чтобы какая-нибудь рыба трепыхалась, когда он ее вытаскивал из воды. Естественно, в заливе есть рыба. Она была в Рутке, почему бы ей не быть и в заливе. Не так много, но есть.

Если бы он с берега рыбачил, пошел бы, хотя бы спросил, клюет, не клюет. Посмотрел бы, не дергается ли, время от времени, у него поплавок. Но, признаться, рыбаки не любят, когда смотрят на их поплавок.

Прямо как игроки в карты. Те тоже не любят. Только всегда на этой лодке. Иногда, когда напротив моих окон рыбачит, хотя бы пойду и посижу на берегу. Разговаривать с берега не совсем удобно. Даже чтобы просто спросить, клюет или не клюет, надо кричать, а я не хочу отпугивать рыбу. Не знаю. Все, что знаю, это то, что он ловит рыбу. Даже не знаю, когда сижу вот так, на берегу, а он посреди залива, на лодке, видит ли он меня. Хотя я его вижу. Ну нет такой взаимности, что как пан к другим, так и другие к пану. И так во всем. Другое дело, что рыболов должен постоянно смотреть на поплавок, потому что если рыба начнет клевать...

Бывает, туман поднимется над заливом, неподвижный, как сейчас, осенью, иногда стоит целый день, и он пропадет где-то в этом тумане, так я, раз от разу, позову:

– Эй, ты там?! – даже пройдусь вдоль берега, покричу: – Ты там?! Есть кто здесь?!

Он еще ни разу не ответил мне. Как-то, чтобы услышать его голос, я даже вышел на берег перед рассветом, пока он не успел уплыть, и чуть не поссорился с ним, почему он не вытащил лодку на берег, ночью на заливе образовалась волна, и лодка грохотала своей цепью, так что я всю ночь не сомкнул глаз. Он спал, поэтому, наверное, не слышал. Сказал мне:

– Извини.

Вот и все.

И знаете, когда вот так, слушаю пана, голос у вас как бы похож на его. О, мое ухо все еще чувствительно. По крайней мере, это то, что еще осталось от моей игры. Не буду спорить. Но, должно быть, слышал ваш голос раньше. Ну скажите что-нибудь еще. Хоть что-нибудь. Интересно, мы сидим, лушим фасоль, я слушаю вас, слушаю, и только сейчас заметил.

Мне всегда казалось, что я узнаю любого человека по голосу. По лицу – нет, лицо меняется. Чаще всего лицо становится непохожим на себя. Никогда не можете быть уверены, что кто-то – тот же, кого ты знал прежде, когда смотришь на лицо. Но когда слышишь голос, даже из забытого воспоминания, этот человек всплывает в памяти. Причем лицо

можно облечь в различные личины, маски, гримасы, голос же – нельзя. Как будто от голоса ничего не зависит в человеке. А по телефону, скажу пану, я могу как будто услышать все слои голоса, от самого высокого до дыхания, до тишины. А так. Очень даже. Молчание – тоже голос. Тоже – слова. Только слова, так сказать, которые потеряли веру в себя. По телефону человек говорит всем своим существом. Может, если бы я услышал голос пана по телефону, мне было бы легче вспомнить.

Да, у меня есть телефон, там, в комнате, только он сломан. Я не сдал его в ремонт, потому что он мне вообще-то не нужен. Кому мне звонить? Мне некому звонить. Да и вообще, по мне, если у кого-то есть дело, они могут прийти ко мне. Пан говорит, у меня должен быть мобильный телефон. Зачем? О, я вижу здесь, в сезон, для чего нужны мобильные телефоны. Все с мобильными телефонами у ушей. Почти никто ни с кем больше не общается, как мы здесь друг с другом, все только по мобильным телефонам. Это ближе, думает пан? Человек все больше и больше отдаляется от человека. Если бы не тот факт, что на эти несколько осенних, зимних месяцев тишина снова возвращается сюда, не знаю, смог бы я это выдержать.

Я даже подумываю, не добавить ли на доску объявлений в следующем сезоне: мобильные телефоны оставлять или выключать, когда выходишь из дома. Как в церкви, в театре, в филармонии. А что здесь? Тишина, насколько это возможно в церкви, театре, филармонии. Просто тишина, потому что не знаю, что еще может быть. О, пан даже не представляет, какова сила тишины. Да, слушать, естественно, после сезона, это небо, этот залив, утро, закат, ночь, когда полная луна, пойти в лес ко всем этим деревьям, кустам, травам, лечь в мох. А если бы пан послушал муравьев... Вот так: наклонитесь над муравейником, понятное дело, осторожно, чтобы они вас не искушали, это как, если бы пан был в межзвездном пространстве и слушал Вселенную. Зачем человеку еще куда-то лететь?

Иногда думаю, если бы кому-то удалось сыграть эту тишину, возможно, это была бы просто потрясающая музыка. Я? Да что такое пан говорит. На саксофоне? Такая музыка – не саксофон. Бывает, жалею, что не посвятил себя другому инструменту. Например, скрипке, как меня когда-то уговаривал тот учитель, в школе. Но я выбрал саксофон. Так все началось, так и осталось. Кроме того, играл на танцах, как пан уже знает. Но что тут сказать, если говорить, вообще-то, не о чем, потому как больше не играю.

Хотя, скажу пану, интересно, если бы не попал в тот заводской оркестр, играл бы я вообще. Может, и закончил бы на том, как играл в школе. Не знаю, было бы мне лучше, хуже, но, хотя бы, не пришлось испытать, каково это, когда больше не можешь играть. Ну, молодым был. А когда молодой, как узнать, что будет лучше, хуже? И не сразу, а когда-нибудь, когда-нибудь потом. Никто даже не задумывается об этом, потому что еще не о чем думать. Не сказать, что в те времена была мода на молодых. Пан говорит, всегда есть. Возможно, просто никогда не бывает того же самого. В те времена ничего не могло быть без молодежи. На каждом собрании, совещании, конгрессе в президиуме всегда должен был быть кто-то молодой. То же самое в каждой делегации: по крайней мере, хоть один молодой. Ну и одна женщина. О молодых говорили, что за ними будущее, что они построят новый, лучший мир, что все в их руках. Правда, так всегда говорят, после чего молодые стареют и оставляют следующим молодым тот же мир, в который и они пришли. О, мир не так легко сдвинуть с места, как нам кажется.

Даже думаю, не по этим ли причинам считалось хорошим тоном, когда кто-то молодой в оркестре. Потому что, по правде говоря, я еще многого не знал. И не чувствовал себя молодым. Верил в новый, лучший мир, потому что старый, согласитесь, превратился в руины после войны. И только после войны стало ясно, что это была за война, какое великое поражение не только человека, но и Бога. Казалось, что человек больше не воскреснет, что он перешагнул свой рубеж, и что Бог не подтвердил своего существования. Мне не нужно было ничего понимать. Я сам был тому примером.

Вижу, пан с чем-то не согласен. Тогда почему ничего не говорит? Скажите, что хотели бы сказать. Пожалуйста, слушаю. О, нет. Не один я думал, что время Бога прошло.

Может, я даже так не думал, но больше не мог молиться. Только иногда, когда никто меня не видел, ни с того ни с сего начинал плакать. Был готов поверить во что угодно, лишь бы верить. А что может быть лучше веры в новый, лучший мир? Тем более что уже потом, когда работал на стройке, каждая стройка была как частичка этой веры. В конце концов, было строительство, этого нельзя отрицать. С простоями, долго, часто плохо, материалов не хватало, этого не хватало, того не хватало, воровали, но строили.

Не буду с вами спорить. Пан – мой гость, давайте оставим это. Мне все равно. Погодите, разве я не видел пана раньше на фотографии? Это было в те дни, когда мы были молодцы. Пан не выходит на фотографиях? Как это возможно? Даже в виде тени? А просвечивание рентген-лучами в том месте, где пан стоит или сидит? Тоже нет? То есть вообще ничего? Тем более не понимаю. Но это же собаки... А они спокойно спят. Видит пан. О, они проснулись. Что, Рекс? Что, Лапша? Вам что-то приснилось? А мы тут лущим фасоль с паном. Спите, спите. Я разбуджу вас, когда придет время.

У меня есть одна фотография. Но я не помню, есть ли пан на ней. Позже покажу. Что это за фотография? Я рассказывал пану об этом сне. Вспоминал, вспоминал. Пан даже удивился, что мне больше не о чем думать. Это было еще за границей. Мало когда мне что-то снилось. Как и сейчас. Я играл, поэтому зачастую возвращался посреди ночи, уставал, у меня уже не было сил на то, чтобы заснуть. Но даже когда мне что-то снилось, я просыпался утром и ничего не мог вспомнить. И вот однажды ночью мне снится сон, и этот сон появляется, как на экране. Не помню, но, кажется, он еще не закончился, когда я вскочил, сел на край кровати. Понятно, спал я не один, она тоже проснулась. Обеспокоенная, спросила, что случилось.

– Мне приснился сон, – говорю.

– Расскажи его мне, – попросила она.

Но что я должен был ей рассказать, когда еще не был уверен, снится ли мне, что сижу на краю кровати, или это все-таки не сон и я – бодрствую. Или наоборот.

– Тебя, во всяком случае, там не было, – сказал я, чтобы успокоить ее. – Спи, ночь еще.

– А женщины там были?

– Были.

– Тебе всегда снятся другие женщины, – и тут же уснула.

А я продолжал сидеть на краю кровати и биться с мыслями о том, был ли это мой сон. И могу ли я поверить, что он – не мой.

Была, как сейчас, осень, я шел по лугам, и на голове у меня была шляпа. Пан бы не поверил, но та самая, коричневая фетровая, которую я тогда оставил в поезде. Столько лет прошло, мог бы сказать, что уже и забыл о ней. Нет, напротив, носил шляпы. Всю свою жизнь ходил в шляпах. Даже не мог себе представить, что буду носить какой-то другой головной убор. Я даже испытывал какое-то уважение к шляпе. Кто-то в шляпе обычно вызывал во мне любопытство, во всяком случае, большее, чем в любом другом головном уборе. Не говоря уже о женщинах. Женщины в шляпах больше всего запомнились мне. В шляпе я чувствовал себя лучше всего. Как будто я был кем-то другим, кем-то выше себя, кем-то, для кого все стало фоном. Это не значит, что я ценил себя таким образом. Напротив. Я боялся жить. У меня было такое ощущение, что я только что вылутился из скорлупы, и все еще болит. О, долгое время я вообще боялся жить. И, пан не поверит, но только шляпа мне очень помогла.

Я начал смотреть людям в глаза и никому не доверять. И память моя под шляпой становилась не такой мучительной. Что еще скажу пану, любил кланяться шляпой. Это доставляло мне истинное удовольствие. Впрочем, нет более полного поклона, чем в шляпе. Пан даже представить себе не может, как мне нравилось, когда порыв ветра пытался сорвать шляпу с моей головы. Держа ее за поля, я чувствовал себя практически единым целым с ней. Более того, чувствовал, что будто это я держусь за шляпу, причем, иногда

обеими руками. Пусть даже буря бушевала, я знал, что не могу позволить ей сорвать шляпу с моей головы.

О, у меня было много шляп в моей жизни, разных цветов, фасонов, разных видов, моделей. На шляпы я денег не жалел. Денег, времени. Я мог долго ходить по магазинам, складам, примеряя шляпы, пока не находил ту, которую хотел. Правда, ни в одной из них я долго не ходил. Менял их не только по мере того, как менялась мода. Но не выбрасывал. Жизнь научила меня, что все идет по кругу, как и мир вращается. Мода – точно также. И немодное по прошествии времени становилось самым модным.

Да, это правда. Но для меня не имело значения, существует ли мода на шляпы или уже другие головные уборы вошли в моду. В любом случае, не было такого, чтобы шляпа полностью вышла из моды.

И в наше время можно увидеть женщин, мужчин в шляпах. Так что, возможно, только шляпа и является единственным признаком постоянства в мире. Разве пан так не думает? Сколько вещей исчезло, сколько появилось, но шляпу так и не удалось даже потеснить.

У меня вся квартира была завалена шляпами. Они уже не помещались в шкафу. Лежали на книжных полках, на книгах, на комод, на подоконниках, в общем, везде. У меня в прихожей стояла старинная вешалка, верхняя часть которой раскинулась как пара рогов, собранных вместе, чугунная, с латунными ручками на концах, вся она была завешана шляпами.

Да, я зарабатывал хорошие деньги. Не сразу, конечно. В танцевальных оркестрах обычно хорошо зарабатывают. Естественно, в зависимости от заведения. Как пан знает, классическую музыку почти не слушают, в то время как все танцуют. И позвольте сказать, на мой взгляд, танцы – это не просто танцы, как это может показаться. Только во время танца лучше всего видно, кто есть кто. Не во время разговора – в танце. Не за столом – в танце. Не на улице. Даже не на войне. В танце. Если бы я не играл на танцах, не знал бы так людей.

Часто в том или ином оркестре я даже играл в шляпе. Это уместно для саксофониста. В этом даже есть свой стиль. Остальные оркестранты с непокрытыми головами, а я один – в шляпе. Хотя не единожды и весь оркестр играл в шляпах. Я уже не помню, какой это был оркестр, но у нас был плакат – весь оркестр в шляпах. Ну а потом мне приснилась эта коричневая фетровая, которая была у меня на голове, как в том магазине, когда я ее примерял. Как пан это объяснит? Нет, точно, эта, коричневая фетровая, и точно так же она спадала мне на уши. Издалека было видно, что она слишком большая. Потому что я одновременно и шел, и как будто смотрел на себя, идущего, с какой-то неопределенной точки. Такое бывает во сне. И не только во сне.

Видно было, что с каждым моим шагом по закатанному лугу она качалась у меня на голове. Когда смотришь на себя вот так, да еще и со знанием дела, можно даже яснее и точнее увидеть, чем почувствовать, что происходит у тебя на голове. На мне было пальто, похожее на ваше. Под пальто – костюм. Кажется, был еще галстук, но я не помню ни его цвета, ни рисунка. Его закрывал шарф, который тоже был похож на ваш. Ботинки, связанные между собою шнурками, я нес, перекинув через плечо, и шел босиком. Почему босиком? Не могу этого объяснить. В конце концов, у меня все было хорошо. Мои штанины были закатаны выше щиколоток, но не думаю, что этого достаточно, посмотрел, может, закатать их до колен? Трава была высокой, как будто ее давно никто не косил. Вдобавок ко всему, стоял туман, да такой густой, что я то видел себя, то исчезал в нем. Я даже потерял представление о том, что это я иду по лугам в этом тумане. Только шляпа убеждала меня в том, что это я, и не может быть никто другой. Особенно, когда почувствовал резкий холодок в босых ногах, как будто трава только что отошла после ночного заморозка.

Я шел довольно быстро, хотя никуда не торопился. Туман как бы растворял меня в себе, так что я никак не мог достоверно почувствовать, что это все-таки я. Если такое чувство вообще возможно. Скорее, я как бы догадывался об этом, наблюдая за самим собой с достаточно близкой точки, как я иду через этот туман по этому лугу. И только шляпа, мо-

жет, потому что была коричневой фетровой и слишком большой, пробивалась в такие моменты к моему сознанию. Я чувствовал влажный, прохладный вкус тумана во рту, чувствовал себя насквозь пропитанным этим туманом.

В какой-то момент я остановился, вытер носовым платком туман со лба, затем наклонился, чтобы закатать штаны повыше, и тогда шляпа упала с моей головы. Я начал ее искать в траве, и в этот момент, возможно, проснулся, потому что без шляпы чувствовал себя как будто одной ногой наяву. Это было бы лучше для меня, мне не нужно было бы продолжать идти через этот туман, по этим лугам, не пришлось бы вспоминать этот сон после пробуждения. Сон как сон, луга как луга, туман как туман, они не стоили того, чтобы переносить их в реальную жизнь.

Потом солнце немного пробилось сквозь туман, потому что до сих пор и оно было им скрыто. Туман разлился не только вширь, но и ввысь. Бывают такие туманы. И тогда я увидел свою шляпу, буквально в шаге от меня, в траве. А у шляпы – морду коровы, как будто она ее обнюхивает. Я наклонился, осторожно взял ее из-под морды, и тут она вся появилась из тумана. И в тот же миг и с той, и с этой стороны, словно из стены тумана, стали выходить другие коровы. Солнце почти на глазах истончало и рассеивало туман, луга раздвигались, и появлялось все больше и больше коров, словно кто-то из этого тумана гнал их на меня. Некоторые поднимали головы и смотрели на меня, видимо, удивленные моим присутствием. Некоторые подходили ближе, так что я мог видеть их большие молчаливые глаза. Меня охватил страх перед ними. Я двигался ускоренным шагом, то и дело оглядываясь, не идут ли они за мной. А ведь коровы – самые нежные существа под солнцем. Из всех существ, не исключая человека. Я пас, знаю. Они не шли, стояли и смотрели, словно не понимая, почему я от них убегаю. Я чуть не упал, наступив на кротовый холмик. Подумал, может, это дедушка с лопатой наготове ищет крота. Но нет. Это потому что я снова оглянулся посмотреть, не идут ли за мной коровы.

И вот, оглядываясь время от времени, я наткнулся на группу женщин, стоящих над кучей картофельной ботвы. Пан знает, что такое ботва? Засохшие картофельные стебли, после того, как картошку выкопают. Обычно ботву сжигают и в этом костре пекут картошку, а дым поднимается вверх. Когда осенью едешь на машине, только раньше, не сейчас, пан мог бы видеть дым, который стелился по полям. По мере рассеивания тумана этих куч ботвы становилось все больше и больше. И у каждой из них стояли одни и те же группы женщин, одетых в черное. Я уже собрался приподнять шляпу и извиниться за вторжение, когда одна из этих женщин повернулась ко мне, приложив палец к губам, приказывая замолчать. Это длилось долю секунды, но я успел заметить безграничную печаль на ее лице. На голове у нее была черная шляпа с огромными полями, а глаза были большими и черными, так что эта ее печаль пронзила меня.

Они немного раздвинулись, и другая, тоже в черной шляпе с чуть меньшими полями, приглашающим жестом велела мне встать между ними. Я подумал, что они хотят развести костер, но спичек у них нет. Ботва, осень, луг, коровы, туман, все указывало на это. Может, они даже собираются испечь картошку? Я полез в карман за спичками, когда ближайшая, стоявшая рядом со мной, остановила мою руку и посмотрела с укоризной. Не знаю, сколько их стояло у этой кучи. Не считал. Кроме того, пан знает, как это бывает во сне. Сны не любят цифр. В основном они были богато одеты, в черных пальто, в черных мехах, в черных шляпах, шарфах, перчатках. И чернота одежды каждой из них отличалась по цвету от черного наряда других.

На одной из них была черная тюлевая вуаль, обернутая вокруг шляпы. У другой – огромная шляпа, украшенная черными розами, думаю, у той, что повернулась ко мне, приложив палец к губам, приказывая замолчать. Только тогда я не заметил роз. Еще одна – в маленькой шляпке с воткнутой в нее надо лбом булавкой с черной жемчужиной размером с маковое зернышко. Знаю, что не существует таких жемчужин, но во сне, как пан видит, они бывают. У одной не было шляпы, ее голову покрывала черная шаль, на ней были черные очки в позолоченной оправе и черная шуба, которая поблескивала из тумана. А у дру-

гой от шляпы на лицо опускалась вуаль, да такая густая, что лицо было невозможно разглядеть. И печаль этой женщины показалась мне самой глубокой.

Между ними стояло несколько деревенских женщин. Закутанных в платки, в сердаках³¹, в поношенных башмаках, ссутулившихся, то ли от тоски, то ли от тяжести жизни. Должно быть, было холоднее, чем казалось мне, потому что они время от времени поднимали к лицу свои посиневшие руки и дышали на них. Мне подумалось, что, возможно, те, которые в богатых одеждах – их дочери, невестки, кузины, приехавшие откуда-то, чтобы испечь картошку. Чего может не хватать таким дамам, кроме вкуса картофеля, запеченного на костре.

– Картошка уже пропеклась? – спросил я полушепотом.

– Какая картошка? – обиделась та, что была с жемчужиной размером с маковое зернышко.

– А что?

– Они умирают, – с сожалением в голосе сказала одна из деревенских женщин, дыша на свои руки, чтобы хоть как-то согреть их.

– Кто? Где? – не понял я.

– Старые крестьяне умирают здесь, в этих кучах ботвы, – прошептала мне на ухо та, что была в шляпе с черными розами.

– Боже милостивый, – вздохнула одна из деревенских женщин, и плач не дал ей возможности продолжить.

– Что значит «умирают»? – я все еще не понимал. Тогда та, что была в темных очках, отругала меня:

– Пожалуйста, ничего не говорите. Будьте сдержаннее.

Я все же наклонился над этой кучей в надежде, что, может, узнаю кого-нибудь из нашей деревни. Но через небольшую щель, сделанную как бы для последнего вздоха, ничего не смог разглядеть.

Хотел немного расширить эту щель, но услышал над собой чей-то полушепот:

– Пожалуйста, не делай этого.

Посмотрел, чтобы понять, какая из них сказала, и обнаружил, что не знаю ни одной из этих дам или деревенских женщин. Ну, может, только ту, что в вуали, как будто видел ее мельком раньше. Но плотная вуаль не давала возможности убедиться в этом наверняка. Вуаль, темная, как ночь, вдобавок еще и густо, как мошкаррой, покрытая узелками. Подумал: буду смотреть на нее все время, может, она захочет вытереть слезы, тогда должна будет поднять вуаль. Но из-под вуали раздался голос:

– Пожалуйста, не смотрите так на меня. Тем более, я совсем не та, о ком вы думаете.

– О, наконец-то к нам идет ксендз, – сказала одна из деревенских женщин.

И, действительно, я увидела ксендза. Он поднялся с колен у соседней кучи и направился к нам. В облачении, со столой³² на шее, с Евангелием в руке. Хотел уже крикнуть:

– Эй, ксендз! Узнаешь меня?!

Я его сразу узнал. Только, когда он подошел к нам, оказалось, что это не сварщик со стройки, а фотограф. Даже не спрашивая разрешения, он сразу же нас сфотографировал. Я стою среди этих женщин над кучей ботвы, в коричневой фетровой шляпе. Может себе пан

³¹ Серда́к (сардак) – вид зимней и (или) демисезонной верхней одежды распашного кроя. Сердаки носились с XII-XIV веков в основном сельским населением и одевались по праздникам. Изготавливаются из плотно сваленного сукна (наподобие валенка). Украшаются большими разноцветными кутасами (помпонами в два хороших кулака), пуговицами из маленьких кутасиков, а также расшиваются шнурками, лелитками (мелкими блестками), ером (вставками мелкого кожного черно-белого плетения). Как правило, сердаки делаются черного цвета, но селяне позажиточнее старались сделать себе сердак темно-вишневого цвета.

³² Сто́ла – элемент литургического облачения католического (и лютеранского) священника. Шелковая лента 5-10 см в ширину и около 2 метров в длину с нашитыми на концах и в середине крестами. Цвет варьируется в зависимости от времени церковного года.

представить, как много шляп у меня было в моей жизни, а на фотографии я в этой, коричневой фетровой.

Он щелкнул и тут же достал из фотоаппарата уже готовую фотографию. Естественно, цветную. Моя шляпа коричневая, луг зеленый, куча ботвы, над которой мы стоим, серая, а черные наряды этих дам – каждый черный по-своему. Кажется, он сказал, из какого журнала, но я не запомнил. Он только что узнал, что здесь, на лугах, в кучах ботвы, умирают старые крестьяне, и вот приехал.

– Номер пойдет, как горячие пирожки, – от восторга пропел он. Ему просто нужно попасть внутрь этой кучи. Он сменил объектив на длинную трубку. Опустился на колени у кучи. Просунул этот длинный объектив в щель, открытую как будто для последнего вздоха. Щелкал, щелкал возбужденно, о, отлично, о, превосходно, о, еще лучше. Только когда он закончил, показалось, что кто-то затягивает его в эту кучу ботвы. Он дергался и дергался, звал: помогите, дамы, панове, пока, наконец, ему не пришлось отпустить фотоаппарат. Так он его и потерял.

Скажу пану, когда иногда смотрю на эту фотографию, у меня тоже возникает искушение заглянуть внутрь этой кучи ботвы, кто бы там ни умирал. И однажды я это сделаю. Должен буду сделать. Единственное, что меня останавливает – эти женщины, стоящие рядом со мной, хотя я никого из них не знаю. Особенно ту, в шляпе с черными розами. Пан не знает, что означают черные розы? Потому что, возможно, тем, что они означают, можно было бы объяснить и этот сон. Разве я не говорил пану, что когда она остановила мою руку, когда я собирался достать спички из кармана, и укоризненно посмотрела на меня, одна из этих роз оторвалась от ее шляпы и упала к моим ногам. Я уже собрался наклониться и поднять ее, но моя шляпа предупредила меня, что она тоже упадет, когда наклонюсь.

Черные розы должны что-то означать, в садах таких роз не встретишь. Однажды за границей посетил выставку роз и скажу пану, от форм, от цветов у меня разбежались глаза. Кажется, там были все розы мира, но ни одной черной.

Пан верит во сны? А я не верил, пока мне не приснился этот сон. Нет, я не придавал снам никакого значения. Но теперь, когда я иногда смотрю на эту фотографию, у меня возникает ощущение, будто я просто пересадил себя из этого сна в этот мир, и теперь должен жить здесь и так, как есть в этом мире. Интересно, узнает ли меня пан? Я немного моложе, но не настолько, чтобы не узнать. Возможно, пан узнает одну из этих женщин. Возможно, одна из них окажется вашей хорошей подружкой.

Ну что, будем пить чай? Или пан предпочитает кофе? Пан предпочитает зеленый чай или обычный, черный? Лично я предпочитаю зеленый. Пану нужен сахар? Подождите, здесь где-то должна быть сахарница. Потому что я – без сахара. Зеленый всегда без сахара. Я вообще почти не использую сахар. А, вот она. Я поставлю табуретку между нами, если пан не возражает, мы здесь попьем. Да, серебро. Купил сахарницу в том же магазине, что и подсвечники. Тогда я преуспевал, это был мой золотой век. Играл в пятизвездочном отеле. Помню, играли в белых пиджаках с зелеными погонями. Ну, не каждый вечер. Меняли наряды. Меняли и инструменты, в зависимости от вечера, гостей. Иногда в один и тот же вечер меняли, в зависимости от того, что играли. Саксофон был всегда, в крайнем случае, я менял его с альт на тенор или сопрано.

Есть чай. Мы будем пить его из чашек. Пану они нравятся? Я рад. Я получил их в подарок на день рождения от оркестра. Из всего набора осталось только две. Как будто они ожидали, что однажды придет пан и будет пить из них чай. Я сам никогда из них не пью. Чай, кофе, как и молоко, из кружки. Как-то не было у меня до сих пор возможности предложить кому-то здесь чай. Есть у меня еще две такие же, поменьше, для кофе. Если пан хочет кофе, дал бы ему мед вместо сахара. Пану понравилось бы с медом. Вы когда-нибудь пили кофе с медом?

Сварю его позже, чтобы пан попробовал. Я кофе – только с медом. У кофе с медом совершенно другой вкус, чем с сахаром. Не теряется вкус кофе, и он становится даже мяг-

че, чем со сливками. Сливки, к сожалению, у меня нет, если пан хотел бы со сливками. Поздно, а так съездил бы в магазин, купил. Магазин – в паре километров, но на машине доехал бы в мгновение ока. Как добраться с этой стороны залива на ту, не дольше.

Если бы знал, что пан приедет, я бы купил сливки. Подготовился бы. Жаль, что пан не предупредил меня. Вы звонили? И что, не было сигнала? Не обижайтесь, но, честно говоря, хорошо, что пан не дозвонился до меня, потому как по телефону я бы сказал, что у меня нет фасоли. Подумал бы, кто-то шутит. Или чинят мой телефон и чтобы проверить, как он работает. Даже если бы пан представился, по телефону не поверил бы ему. Принял бы его за кого-то другого. По крайней мере, когда вижу пана, уверен в одном: мы наверняка встречались раньше, но где, когда? Нет, мы не смогли бы просто так пройти по жизни и никогда не встретиться.

16

Может, зажечь свечи? Я бы принес подсвечники. Лушим, лушим фасоль, что уже могли бы стать хорошими друзьями. Тем более, уверен, что мы уже как-то... Ну, а когда человек с человеком снова встречаются после долгой разлуки, это должно быть торжественно, не так ли?

Пан согласится со мной, что где-то так, примерно до середины жизни, друзья приходят к нам и приходят, трудно даже всех запомнить, а после середины – начинают убывать, так что, в конце концов, человек остается уже единственным другом самому себе. И дело не только в том, что они уходят от нас. Жизнь просто дает нам понять, сколько ее у нас позади и сколько впереди. Позади – почти все, впереди – только то, что осталось. Чтобы, когда кто-то, как пан, придет купить фасоль и при этом покажется вам знакомым, вы должны хотя бы зажечь свечу. Каждый твой друг тогда становится как бы не только твоим, личным другом, а другом для всех твоих друзей.

Если бы я играл, сыграл бы по такому случаю. Но, увы... Я понимаю, что мне по силам. Да, иногда возникает такое искушение. Бывает даже, достаю саксофон из футляра, вешаю его на шею, вставляю мундштук в рот, обхватываю руками корпус инструмента, но не решаюсь провести пальцами по клавишам. Для лушения фасоли, как пан видит, мои руки еще достаточно хороши. И для других работ. Хотя, перекрашивать эти мемориальные таблички – настоящее мучение. Что уж говорить о саксофоне. Сразу мои пальцы становятся жесткими. И тогда даже в мундштук дуть страшно. Но я слышу себя. Может быть, пан не поверит, не играю, но слышу. И мои собаки слышат меня. Я вижу, они лежат, словно обратившись в слух. Их шерсть спокойна, кожа не дрожит, морды вытянуты, уши наострены, как будто они не хотят ничего пропустить. Мне не кажется, я – играю. Нет, они слышат, я это чувствую. Моими губами, ртом, моим выдохом, этими пальцами, которые боятся коснуться клавиш, я играю всем своим существом. Неужели я бы не узнал своей игры? Я слушаю себя, слушаю свою душу, как я могу не узнать, что это – я?

И вот что скажу пану: только теперь, когда не играю уже много лет, я понял, что это за инструмент – саксофон. Играя так, что слышишь только себя, слышишь нечто большее, чем просто музыку. Как будто ты пересек какую-то черту внутри себя. Возможно, это происходит со всеми инструментами, но я играл на саксофоне, поэтому могу говорить только о саксофоне. Кажется, ты знаешь, что он может, для чего он хорош, для чего – не хорош, знаешь все его части, о, как свои руки, глаза, рот, нос, знаешь, что от чего зависит, но оказывается, что знаешь не так уж и много. Только когда больше не играешь...

Когда выбирал новый мундштук, пробовал и пробовал, продавец подавал их мне и подавал, до того, пока я не остался доволен хотя бы одним из них. Может показаться, что уже все знаешь. Как-то в одном магазине я даже услышал, что приходят сюда, к нам, из разных оркестров, но чтобы кто-то вот так привередничал... Просто даже два одинаковых мундштука, допустим, из эбонита, но каждый из них будет звучать по-разному. Не потому, что они сделаны из эбонита. Они могут быть латунными, серебряными или позоло-

ченными. Два одинаковых, но не один и тот же звук. И неизвестно, что на это влияет. Точно так же и с тростью³³, она должна быть сделана из подходящего бамбука. Как определить подходящий бамбук? Что значит подходящий бамбук? Ну, может означать все, что угодно. На какой земле он рос, какой год был, где рос, не слишком ли мало было солнца, не слишком ли много дождя или наоборот. Был ли он хорошо срезан, равномерно ли высушен с обеих сторон. И самое главное, был ли он мягким или твердым.

Все это потом отражается на звуке. Даже человеческие руки, подготовившие трость, отражаются в ее звучании. Вот почему я каждую трость сам доводил до ума, пока она не зазвучит настолько хорошо, насколько это возможно. Поэтому пан должен знать, что мундштук и язычок – самые важные части саксофона. Само собой разумеется, важна каждая часть: шейка, колки, особенно плотность прилегания подушечек, раструб, от каждой что-то зависит, многое зависит и от пробки на мундштуке, от так называемого механизма, который удерживает трость, чтобы она вибрировала по всей своей длине.

Но мундштук и язычок – самые важные. Не только потому, что они превращают ваше дыхание в музыку. Они как бы открывают всю жизнь человека, всю его память, даже если она и не запомнилась, все надежды, все сожаления, которые вы питаете к людям, к миру или даже к Богу. Как пан думает, был ли у меня шанс? Просто саксофон редко играет в таких оркестрах, о которых пан говорит. Может, если бы не только на танцах... Или закончил какое-нибудь высшее учебное заведение, был бы документ, что умею, могу. Пан знаете, как это бывает. У человека должна быть даже бумага о том, что он родился. Без этого он бы не родился. Должна быть, что он умер, иначе он бы не умер. Так устроен мир, что тут объяснять пану. Мы оба достаточно долго живем в нем. Полагаю, у пана нет никаких сомнений? О, мы лущим фасоль, так что так оно и есть. Кто-то уже сказал что-то подобное, и это правда. Только, этого, как правило, недостаточно. Каждый должен подтверждать чем-то еще. Или кем-то. Но до тех пор, пока мы лущим фасоль, нам не нужно что-либо подтверждать.

Это не то, что я хотел сказать. Хотел сказать, что само существование не является каким-либо доказательством. Существование наделяет нас сомнениями. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я говорю в целом, а не о пане или обо мне. В конце концов, я вас не знаю. Могу догадываться о том или этом, но не знаю пана. Ну, мы лущим фасоль, вот и все. Но когда-то мы закончим, пан уедет и что тогда? Я вас не вспомню, а вы меня – тем более. Ну, я не был тем, кого стоило бы помнить. Электрик и играл на танцах. Если бы пан когда-то танцевал в каком-то из заведений, где я играл, вероятно, и внимания бы не обратил на какого-то там саксофониста из оркестра.

Оставьте, я бы не хотел ничего навязывать пану. Может, из вежливости пану придется сделать вид, что, о, да, вы понимаете, как вы могли забыть, у вас нет больше сомнений, если не здесь или там, естественно, здесь, там, но, конечно, да, тогда-то и тогда-то. Здесь, там, тогда, потом, зачем и почему?

Признаться, иногда приходится притворяться, когда встречаешь кого-то спустя годы, а в памяти не остается ни малейшего следа, что да, – это он, который когда-то был. Или пусть даже остался след, но что с того, когда ты бьешься, убиваешься, но никак не вспомнишь, был ли вообще этот кто-то. Да, тогда надо делать вид, что помнишь, что был. Мне даже интересно, был ли кто-нибудь без притворства? Было бы это вообще возможно. В конце концов, что такое память, если не притворяться, что помнишь. А ведь она – наш единственный свидетель того, что мы были. Мы зависим от памяти, как лес зависит от де-

³³Трость (язычок) – звукообразующий элемент на саксофоне. Обычно для ее изготовления используется бамбук, камыш или тростник, однако некоторые модели делаются из синтетических материалов. В зависимости от разновидности саксофона, для которой они предназначены, трости имеют разные размеры. Трость прикрепляется к мундштуку с помощью особого приспособления – лигатуры (машинки), представляющей собой небольшой хомутик с двумя винтами. Лигатура для классического саксофона делается из металла, музыканты джаза и других жанров используют наравне с металлическими лигатурами кожаные, дающие трости более свободное колебание.

ревьев, а река от берегов. Скажу больше, на мой взгляд, мы созданы памятью. Не только мы, весь мир в целом.

Поэтому мы должны жить так долго, насколько позволяет нам наша память. Больше – нельзя. Человек живет слишком долго, скажу я пану, какой бы короткой жизнь ни казалась всем нам. Пан так думает? Тогда что скажут мои собаки или другие существа? Слишком долго. Когда думаю, что они могут умереть раньше меня, это уже – слишком долго. Человеческая память рассчитана на более короткую жизнь.

Ничья память не может так долго жить. И это – счастье, говорите? Почему? Человек просто не выдержал бы столько памяти, говорите? Мир рухнет от такой памяти? Возможно. Хотя то, что мы не можем вспомнить, все равно остается в нас. Поэтому, на мой взгляд, слишком долго. Как я говорю, нужно жить столько, сколько позволяет нам память, и в тех пределах, которые она нам устанавливает. А знает ли пан другое мерило жизни?

Простите, что спрашиваю, у пана никогда не было такого ощущения, что он слишком долго живет? Это говорит о том, что пану, как и большинству людей, нравится жить. И я могу это понять, особенно если кто-то считает, что живет в порядке исполнения судьбы, предназначения, начертанного свыше. О, да, в порядке предназначения жить намного легче. Только я не верю в судьбу. Просто случайность, исключительно случайность, все случайность. Так устроен этот мир, так устроена жизнь, если бы пан захотел узнать, как это все здесь. И что, стоило приходить? Особенно, если учесть, что я сразу же заставил пана лущить фасоль. Но пан хотел купить фасоль, помните? А у меня была не лущенная. Ну, и видит пан, я слишком долго говорил. Насколько помню, я говорил. Если только пан не верит в сны. О, сны, это – тоже память.

Возможно, я бы никогда и не вспомнил об этой шляпе, если бы она мне не приснилась. Когда стоял среди женщин над кучей ботвы, уже тогда должен был догадаться, что означает эта шляпа. Только, как уже говорил, до той поры не верил в сны. Ну, только когда через некоторое время заболел ревматизмом. Сам по себе ревматизм не был бы так страшен, ясное дело: болезни – они для людей, и с ними надо как-то мириться. Но, как потом выяснилось, я больше не смогу играть. А игра для меня была всем. Можно сказать, я не особо заботился о себе, только об игре. Вне игры я как будто не существовал. Кто знает, может, я даже не существовал, и только эта игра, как бы выводившая меня из небытия, заставляла меня жить.

В конце концов, именно ради игры я и уехал. Тогда это было нелегко, как пан знает. Но компания, в которой я работал, получила иностранный контракт на строительство цементного завода. И я больше не вернулся. Других причин у меня не было. Мог бы продолжать играть в оркестре той или иной компании. Только я все еще помнил, что сказал мне кладовщик, как саксофон вел его по миру. Не говоря уже о том, что хотел уйти от воспоминаний, которые, как мне казалось, постоянно возвращали меня куда-то назад. Подумал: воспоминания останутся здесь, а я буду играть там.

И неожиданно – этот ревматизм. Все вернулось как бы с удвоенной силой. Вся моя жизнь внезапно всплыла в памяти. Даже не знал, что ношу ее в себе. Если бы не игра, мне было бы все равно, жив я или мертв, и с каких пор. Потому что, в самом деле, зачем мне жить? Что это – какой-то счастливый случай? Но такой ли он счастливый? Может, он просто издевался надо мной? Или он подверг меня испытанию? Какому испытанию? Не знаю.

Сейчас с моими руками лучше. Пан, как зашел, видел, что я перекрашиваю эти мемориальные таблички. А это – не так просто. Если задрожит рука, то и кисть задрожит. А краски сейчас много лучше, не так легко смываются. И нужно по сохранившимся остаткам надписей рисовать, а они, частенько, уже практически исчезли, покрылись ржавчиной и не очень заметны. И можно кого-то перепутать с кем-то другим. О, и фасоль могу лущить, как пан видит. Но на саксофоне больше не могу. Для саксофона пальцы должны быть как бабочки. Они должны чувствовать не только то, какой звук рождает то или иное их прикосновение, но и то, насколько звук должен быть глубоким. О, этот палец, видит пан, у меня немного опухший, а на левой руке эти два – не могу согнуть. Мне, конечно,

больно. Но уже намного лучше. Я могу делать почти все. Могу починить все, что мне нужно, рубить дрова, водить машину, когда мне надо что-то сделать или съездить к механику.

Но было время, когда я не мог поднять чашку кофе или чая, можете себе представить. У меня почти все пальцы были жесткими, малоподвижными. А когда пальцы не сгибаются, как играть на саксофоне? Тут – в мундштук дуешь, а здесь пальцы боятся согнуться. Все, игра окончена. Ни слова больше об игре. Вы играли, а тут – отчаяние. Всю вашу жизнь играли, а теперь вы – в отчаянии. Умоляешь эти пальцы, сжимаешь их, пытаешься согнуть, но они кажутся мертвыми. Пусть им будет больнее всего, пусть им будет невыносимо больно, пусть они ранят, жгут, жалят, но пусть гнутся. Пан не может себе этого представить. Все надежды, желания, муки уже бессмысленны. И как смириться с этим?

Минутку, не ожидал от пана того, что он сейчас сказал. Должно быть, спутал вас с кем-то. Надо вспомнить, где и когда мы встречались. Что-то не сходится. Не подумал бы. Если бы это был кто-то другой... Нет, нет, я правильно вас понял. Я понял пана. Мне даже интересно, кто знает, вдруг вы правы. В конце концов, это выход. Потому что хуже всего, когда его нет. Да, это выход. Но теперь это не имеет никакого значения. Может, если бы тогда.

Только видит ли пан, когда что-то происходит не вдруг, не сразу, вы сначала этого не замечаете. Потом не обращаешь внимания, потом утешаешь себя тем, что, может быть, все уж и не так плохо. Тем более, другие тоже утешают, что кто-то там, что вот это и это – точно так же или даже хуже, и что все хорошо закончилось.

Однажды зимой вернулся после отпуска с гор, где катался на лыжах, и почувствовал, что руки у меня как-то странно онемели. Немного, совсем немного. Вот этот палец начал болеть. Другие пальцы – нет, не болели, просто как будто онемели. Подумал, это после катания на лыжах. Мои руки болели, перенапряглись от палок, подъемов, подъемов, падений. Я катался не хуже других. Но две, три недели от силы, да и не каждую зиму. Неудивительно, что потом чувствуешь себя немного не в своей тарелке. Но через некоторое время начали болеть и плохо сгибаться и другие пальцы. Играю, и не успею нажать на клапан. Или нажимаю, но не так. Нехорошо, думаю. Пошел к врачу. Осмотрел одну руку, осмотрел другую, попытался согнуть мои пальцы и так, и эдак, подергал тут, там, спрашивает: не больно ли.

– Больно.

– К сожалению, – говорит, – ревматизм. И острый. Вам нужно обследоваться. Посмотрим, а потом подумаем о лечении. Однако санаторий необходим. Желательно даже два раза в год.

– А смогу ли я играть, – спрашиваю, – доктор?

– А на чем вы играете?

– На саксофоне.

Он посмотрел на меня как бы сочувственно.

– Пока подумайте о руках. Тем более, что руками это может не закончиться. С ревматизмом никогда не знаешь. Ревматизм – такая болезнь...

Но я уже не слушал его, что это за болезнь, просто думал, как я теперь буду жить без игры.

В конце визита он немного утешил меня, сказав, что без обследования ему трудно делать какие-либо выводы, так что, возможно, я еще смогу играть. Естественно, если следовать его рекомендациям.

Обследование прошло не очень удачно, поэтому я следовал его рекомендациям, тем более, что он не лишил меня надежды. Помимо лекарств, он рекомендовал терпение, не падать духом, ну, и санаторий. И я стал ездить в санаторий. Проходил различные процедуры, массаж, принимал ванны. Добросовестно старался делать все как можно лучше. Но какой может быть эффект, когда все время думаешь, что уже не играешь, а может, и вообще не будешь играть. Когда думаешь отдельно и лечишься отдельно, не чувствуешь ка-

кого-либо эффекта. Я даже остерегался заводить какие-то знакомства, доброе утро, добрый день, вот и все. Никуда не ходил, кроме прогулок. Иногда до или после прогулки заходил в кафе выпить чашечку кофе или чая. Но больше – никуда. Ни на какие концерты, хотя иногда приезжали хорошие оркестры, певцы, певицы и часто – с хорошими голосами. Санаторный парк был огромным, так что было где прогуляться. Аллеи, аллеи, было куда свернуть и уйти, если кто-то шел навстречу, а ты хотел его избежать. Повсюду скамейки, иногда я присаживался, но, если кто-то садился хотя бы и на другом ее конце, тут же уходил. Мне было плохо с людьми. Сам себя я плохо чувствовал, скажу пану.

Только когда белки подбегали ко мне за орехами, я на время забывал о себе. Всегда носил с собой пакет с лесными орехами. И они как будто уже знали об этом. Достаточно было присесть на минутку, и они тут же подбегали. Можете себе представить? И почему белки так доверяют людям? Пан думает, люди в санатории другие? Значит, всех надо бы направить в санатории. Просто и там тоже такое случалось, кто-то бросил собаку, например. Бродил, и не один пес, искал своего хозяина.

Не в этом санатории, в другом, потому как не знаю, рассказывал ли пану, как я начал свою карьеру за границей? Так вот, в одном из таких санаториев я стоял на главной аллее, а на земле, рядом со мной, стояла корзина. Ставил корзину на землю рядом и играл. А люди, проходя мимо, бросали в корзину деньги. Иногда они садились рядом, на скамейки, чтобы послушать. Иногда кто-нибудь просил сыграть конкретную мелодию, такие обычно бросали больше. Сразу это было нелегко сделать, о, нет. Но мне повезло.

Как-то рядом со мной на скамейку присел пациент, идущий на костылях. Послушал, послушал, поднялся и бросил в корзину купюру.

Затем он попросил меня сыграть ему еще что-нибудь, потом еще что-нибудь, а потом я подставил ему корзинку, потому что ему было трудно нагибаться, и он бросил более крупную банкноту. После этого приходил почти каждый день, сидел, слушал, просил, чтобы я сыграл то или иное, потом я протягивал ему корзинку, а он бросал в нее купюры.

Как-то заставил меня сесть рядом с ним, начал спрашивать, где я учился играть, есть ли у меня какие-нибудь свидетельства, сертификаты. Нет, я его не обманывал. Все честно рассказал, что учился в такой-то школе, потом меня учил кладовщик на стройке, и что я играл в заводском оркестре. Кивнул, но мне показалось, что не поверил. Я едва мог говорить, так, с пятого на десятое, но он как будто все понимал.

Через какое-то время он снова велел мне сесть рядом с ним. Больше не задавал никаких вопросов, просто начал жаловаться, что санатории ему мало чем помогают и что ему грозит инвалидная коляска. А раньше он был танцором, любил танцевать. Теперь у него свое заведение, сказал название, сказал – где, и не хотел бы я играть у него в оркестре. Когда уезжал, пришел попрощаться, дал мне точный адрес, дал денег на поездку, мы договорились, когда я должен приехать. Вот так и началось.

Ну, тогда пан может себе представить. Раньше мне бросали в корзинку, но я играл. А теперь я другим бросаю в корзинку, но сам уже и не надеюсь. Он все еще стоит у меня перед глазами, как ковыляет шаг за шагом на костылях, а ему грозит инвалидное кресло. Да, он уже передвигался в инвалидном кресле, когда я играл у него в заведении. Скажу пану, ждал я, как приговоренный, тем более, долгое время не было никаких улучшений. Мне становилось все хуже и хуже. Так что пан уже в курсе, пришлось мне забыть о саксофоне. Само собой разумеется, ездил в санатории, как велел доктор, но уже боялся водить машину и ездил на поезде.

И вот как-то в очередной год еду на поезде, поезд останавливается на какой-то станции, и через некоторое время в дверях появляется женщина. До этого мне было все равно, кто сидит рядом со мной в купе, но она сразу привлекла мое внимание. Я вскочил, чтобы помочь ей положить чемодан на полку, хотя своими, тогда совершенно бессильными руками, вполне возможно, и не справился бы. Сам я оформлял багаж. На мое счастье, кто-то, ближе к двери, опередил меня. Она была примерно среднего возраста, хотя, как пан знает, средний возраст труднее всего определить. Одета со вкусом, ухожена. Излучала зрелую,

но несколько запоздалую красоту. А может, это было похоже на то, что суровость существования через эту красоту производила такое впечатление, в то же время высвечивая глубину этой красоты. Лица, пока они молоды, – красивы, но красивы как бы только внешне, пока суровость существования не пробудит в них что-то иное, уже не внешнее, глубинное. Однако, не это захватило мои мысли, хотя, как раз в этом не было бы ничего удивительного, если бы только это. Чем дольше я на нее смотрел, понятное дело, украдкой, тем больше был уверен, что где-то мы уже встречались. Только где, когда, начал я задавать себе вопрос. Мне даже пришло в голову, не она ли была в той черной вуали, густо, как мошкаррой, покрытой узелками, когда мы стояли над кучей ботвы в том сне. Под знаком этих размышлений у меня прошла вся дальнейшая поездка.

Она вышла на той же станции, что и я. Я поклонился ей на платформе на прощание, вложив в этот поклон все мое сожаление, что мы никогда больше не встретимся. Не думаю, что она поняла смысл моего поклона. Она кивнула мне безо всякой улыбки. Так что я тем более был уверен, что мы больше не встретимся.

И вот однажды, пан не поверит, сию на скамейке в парке, курю сигарету, вдруг вижу, она идет. Она была одета по-другому, уже более буднично, несколько небрежно, но и со вкусом. Я узнал ее издалека. Все время думал о ней с тех пор, как мы вместе ехали в одном купе. Часто даже между процедурами задавался вопросом, где мы могли встретиться и когда, что я ее так сразу узнал. Она подошла к скамейке, на которой я сидел. Нет, не улыбнулась, хотя бы в знак того, что помнит меня. Она только спросила: может ли присесть, потому что хочет выкурить сигарету, и видит, что я курю.

– На всех скамейках одни некурящие, – сказала. И когда она уже уходила, выкурив сигарету, сказала: – Спасибо, пану.

Вот и все. Я снова начал задаваться вопросом, откуда ее знаю. Потому что теперь у меня больше не было ни малейшего сомнения, что намного, намного раньше, чем в поезде. В парке, при солнечном свете, яснее видно, видно как бы из самого далека. Но как давно это могло быть, я все пытался вспомнить. Выкурил несколько сигарет подряд. Просмотрел в своей памяти, как бы пролистав фотоальбом, почти всех женщин, которых я знал, но никак не смог ее отыскать. Может, тогда она была намного моложе, может, она так изменилась. Скорее всего, эта тяжесть существования должна была уже в молодости проявиться в ее красоте, поэтому, наверное, я и запомнил ее.

Через несколько дней я зашел в кафе после прогулки, сидел, пил кофе, просматривал газету, когда что-то заставило меня поднять глаза. Кафе было переполнено, все столики заняты, и тут вижу, как она входит в кафе, точно так же, как тогда вошла в купе. Она сделала несколько шагов, выглядывая: нет ли где свободного столика. Я посмотрел, следуя за ее взглядом, но не заметил, чтобы кто-то собирался освободить столик. Мне даже не пришло в голову, что мог бы пригласить ее за свой. Наверное, боялся, что может мне отказать, ведь на скамейке в парке она не сочла нужным даже улыбнуться, не говоря уже о том, чтобы спросить, не ехали ли мы в одном купе? Ах, да, я вспомнила пана. И снова опустил взгляд на газету. Вдруг услышал над собой ее голос:

– Пан позволит сесть за его столик? Все места заняты. Может, скоро где-то освободится, так что, надеюсь, ненадолго.

– Пожалуйста, – сказал я, возможно, даже слишком сухо. Но я чувствовал какую-то обиду на нее, что тогда, на скамейке в парке, она не узнала меня, что мы ехали вместе, в одном купе. Сейчас было бы легче завязать разговор. Теперь же я совершенно не знал, о чем с ней говорить, а читать газету было уже неприлично. Но женщины, как пан знает, обладают такой сверхъестественной способностью проникать в суть даже тогда, когда ты пытаешься что-то скрыть от них. Поэтому, прежде чем сесть, она заколебалась и спросила:

– Или вы кого-то ждете? В таком случае...

– Пожалуйста, пожалуйста, – повторил я приглашение гораздо более теплым тоном. И после этих нескольких слов, так необходимых в подобных ситуациях, которые она сама мне подсказала, полушутливо добавил, когда она уже села:

– Действительно, мы не всегда понимаем, что ждем кого-то, а зачастую не осознаем этого.

Похоже, она испугалась.

– Ах, тогда извините, – и уже собиралась вскочить со стула.

– Пожалуйста, сидите, – остановил я ее. – Это я так сказал, вообще.

– Тогда я просто съем пирожное и уйду, – сказала она. – Иногда не могу себе в этом отказать, хотя понимаю, что должна, – начала оправдываться.

Чтобы окончательно ее успокоить, я сказал:

– В любом случае, пожалуйста, не принимайте мои слова близко к сердцу, потому что они могут помешать вам насладиться вкусом пирожного. Не хотел бы стать тому виновником. Я сказал просто так, ради собственно слов.

– Да, я тоже так поняла, – сказала она.

Тем не менее, она выглядела немного взволнованной, что проявлялось и в некотором беспокойстве, с которым она выглядывала официантку, только что скрывшуюся в подсобке.

– Пожалуйста, не волнуйтесь, официантка скоро придет.

– Я не волнуюсь, – горячо возразила она. – Почему я должна волноваться...

У меня создалось впечатление, что я что-то в ней затронул, хотя имел в виду только официантку. Может, я хотел исправить свою неловкость, или что-то иное было тому причиной, но я сказал:

– Хотя, ни в одной ситуации нельзя быть уверенным в том, что это не случай сработал и привел к ее возникновению.

– Какой случай? – удивилась она.

– Ну, например, тот, что, когда вы пришли, свободных мест не было. Благодаря этому, мы сидим вместе за одним столиком.

– Случай? – она как будто задумалась.

– Много лет тому назад мы с одним человеком по ошибке поклонились друг другу на улице, он принял меня за знакомого, а я его – за друга, но оказалось, что мы не знакомы. Я извинился перед ним, мол, это – чистой воды случайность. Но он не согласился и пригласил меня в кафе.

– Неужели в кафе случайности превращаются в судьбы? Вы это хотели сказать? – в ее голосе прозвучала насмешка.

– Не исключено, – сказал я, тоже придав своему голосу оттенок насмешки, хотя и не собиравшись насмеяться. – Все зависит от того, что мы считаем таковым. Почему мы не можем считать, что вы пришли, потому что я ждал вас.

– Неужели? – она изобразила удивление, но в то же время в ее глазах появилось недоверие.

– Это невозможно? Противоречит здравому смыслу? Тем более, что мы знакомы.

– Правда? – Она сделала большие глаза. Я думал, она рассмеется. Но она замялась, как будто задумалась над чем-то. – Вы, должно быть, путаете меня с кем-то другим, – сказала через некоторое время. – Я вас совсем не помню.

– Как же? Мы ехали в одном поезде, в одном купе. Вы сели, это как раз была станция...

– Это невозможно. Я приехала на машине.

– На машине? – на самом деле я был не столько удивлен, сколько встревожен. – Вы сидели на противоположной стороне, прямо у двери. У вас был большой черный чемодан. Я хотел помочь вам поставить его на полку, но кто-то опередил меня.

– Мне жаль. Я вообще не езжу на поездах. Не переносю поезда. Просто не выдержала бы в поезде. Это бегущее за окнами и не внушающее каких-либо надежд пространство. У меня не самые приятные воспоминания о поездах.

Она поколебала мою уверенность. Однако я не поверил ей. Чувствовал, она узнала меня, у нее не было никаких сомнений, что это – я. Может, она просто играет в какую-то игру, правила которой мне неизвестны. Или от чего-то защищается. Только от чего?

– А помните, несколько дней назад я сидел на скамейке в парке и курил сигарету. Вы подошли и спросили, можете ли присесть, потому что тоже хотели покурить.

Она засмеялась:

– Я не курю! И никогда не курила. Вы действительно перепутали меня с кем-то.

– Что значит, не помните? – я не сдавался. – Вы сказали, на всех скамейках сидят некурящие. И поблагодарили меня, когда уходили.

– Может, вы будете настолько любезны, что спросите официантку, – сказала она с легким нетерпением. – Я бы съела пирожное, чтобы вы больше меня не беспокоили.

Она не давала мне никакой надежды. И я решил превратить все это в шутку, мол, извините, я пошутил. Мне иногда нравится смотреть, как кто-то поведет себя в навязанной ему ситуации. Но в то же время, я не сомневался, что это – она. Кивнул официантке, которая только что вышла из подсобки. Она подошла к нам.

– Пожалуйста, предложите нам пирожные.

Через минуту она вернулась с подносом, полным пирожных, и, когда поставила поднос перед нами, я спросил:

– Какие из них выберете?

При виде пирожных ее глаза наполнились почти детским восторгом.

– А какое бы вы порекомендовали?

Я посоветовал то, что обычно выбирал сам.

– А вы не будете возражать, если я выберу себе другое?

И выбрала другое. Поэтому я попросил то же самое, что и она. И, кажется, она поняла, в ее глазах, как вспышка, появилось недоумение. Она улыбнулась, но ее улыбка показалась мне искусственной. Точно так же, с такой же искусственной беззаботностью она выплеснула, съев и наслаждаясь съеденным пирожным:

– Ах, как я благодарна, что вы позволили мне сесть за свой столик. Мне сегодня так захотелось пирожного...

– И именно этого, – добавил я.

– А откуда вы знаете? Вы не могли знать, если вы предложили мне другое.

– Из строптивости, – сказал я. – Так же, как вы так настойчиво не хотите вспомнить, что мы с вами ехали в одном купе, что вы садились ко мне на скамейку в парке, чтобы перекурить. И где бы мы ни встретились, вы бы это отрицали, я знаю. Даже если бы я сказал, что вы мне приснились, вы бы и это отрицали, говорили, что это – невозможно.

– А это – возможно, как бы банально оно ни звучало.

– Но как, если вы утверждаете, что мы никогда раньше не встречались?

– Но, может, это единственный способ вспомнить вас, – и она посмотрела на меня неподвижными глазами, словно из них вдруг вытекла жизнь. Некоторое время мы смотрели друг на друга, и снова в ее глазах появилась улыбка.

– Думаю, сегодня я не откажусь и съем второе пирожное, – и кивнула официантке. А когда та снова подошла к нам с подносом, полным пирожных, велела сначала выбрать мне. После чего заказала себе то же самое, что и я. – Видите, какая я сладкоежка? Я не должна была, действительно. Никогда не позволяю себе больше, чем одно... Это из-за вас. Вы ужасны. Если бы я знала... – и, как бы надувшись, посмотрела мне в глаза, и я уловил в этом ее взгляде словно бы тень страха. Но тут же сказала: – Я всегда потом жалею, когда не могу от чего-то отказаться. Мне придется наказать себя за это второе пирожное.

– Наказать? И какие же наказания вы понесете?

– Еще не знаю. Что-нибудь придумаю. А, уже знаю. Когда приду сюда в следующий раз, буду пить только кофе или чай, никаких пирожных. Преподам себе урок, чтобы на будущее не забывать, – и начала практически наслаждаться тем наказанием, которое она сама себе назначит.

– Или нет, даже не буду пить ни кофе, ни чай. Налью себе стакан воды. Буду еще строже. Закажу пирожное, но есть его не буду. Оставляю его без внимания. Или два пирожных, о, да, два пирожных, как будто я кого-то жду. И поскольку этот кто-то не придет, оставлю их оба, – и она начала смеяться, как будто ее очень забавляло наказание, которому она себя подвергнет. – В конце концов, вы сами только что сказали, что мы всегда кого-то ждем, просто не всегда осознаем это. Так что, может быть, таким образом я хотя бы пойму это. Два пирожных, оба оставлю и уйду.

А я как раз собирался сказать ей, чтобы она не наказывала себя, тем более, что еще одно пирожное... ничем ей не грозит. Она такая стройная. Когда она вошла в кафе и начала оглядываться в поисках свободного столика, я даже придумал сравнение, что она похожа на пасхальную пальму³⁴. Но подумал, что, возможно, она не знает, что такое пасхальная пальма, и спросил, не хочет ли она выпить кофе или чая, извинившись, что мне это не пришло в голову раньше.

– Ах, нет, спасибо, – бросила она, все еще продолжая смеяться. – Это испортит мне вкус пирожного. Никогда не запиваю его ни кофе, ни чаем, ничем, – не переставая смеяться, она потянулась за салфеткой, а рукав ее блузки тут же потянулся ближе к ней, и из-под края манжеты, над запястьем, о, где-то здесь, может, чуть выше, появились какие-то цифры, написанные на коже как будто чернилами или химическим карандашом. Это длилось какое-то мгновение. Она резко схватила салфетку с подставки и... только после того, как поправила рукав, поднесла салфетку к губам.

Я должен был не заметить этого, не все нужно замечать, особенно мужчине у женщины. Не все, что есть в человеке, приятно ему. Не все и в нас самих. Есть много вещей, которые мы хотели бы улучшить в себе. Но поскольку это невозможно, согласитесь, по меньшей мере, будет не так болезненно, если мы не замечаем этого. Или делаем вид, что не замечаем. Но она, похоже, заметила, что я заметил, и словно почувствовала себя обязанной сказать:

– Ах, это еще с детства, – и смутилась, может, даже чуточку запаниковала, потому что отвела взгляд, устремив его куда-то в глубину кафе. И только через некоторое время вернулась к своему пирожному, едва ли не кончиком ложки, едва ковыряя его. – А знаете, – сказала она, прижимая ложку к губам, – о чем я чаще всего мечтала в детстве? Чтобы однажды съесть пирожное.

Я рассмеялся. Это, скорее всего, вышло неискренне, потому что на ее лице не было даже тени улыбки.

– Никогда бы не подумала, что когда эта моя мечта сбудется, мне придется отказывать себе, – и ее глаза снова начали блуждать по кафе, она смотрела куда-то вдаль, а когда снова начала есть пирожное, вернее, откусывать от него, ее глаза, казалось, погрузились в это пирожное.

Вдруг она оживилась и с какой-то строптивостью сказала: – То первое пирожное, которое я выбрала, было все-таки лучше.

И мы начали спорить, которое из них было лучше, – то ли то, что выбрала она, то ли то, что я. А пан знает, что значит спорить о пирожных. Как будто мы спорим о чем-то чрезвычайно важном, хотя это были всего лишь пирожные. Как будто мы подвергаем себя какому-то испытанию, хотя мы подвергаем себя только пирожному. И так мы пришли к

³⁴ Пасхальная пальма – традиционное польское украшение из ивовых ветвей и других растений, которое изготавливается к Пасхе в честь въезда Иисуса Христа в Иерусалим и освящается на Вербное воскресенье. Поскольку пальмы не растут в Польше, ветви ивы служат символической заменой пальмовых ветвей. Пасхальная пальма украшается лентами, сухими цветами или другими растениями, которым приписывают различные полезные свойства.

воспоминаниям о том, у кого из нас и когда было самое лучшее пирожное в жизни. В основном она вспоминала, где, когда, какие, и каждое из них было лучшим. Хотя предыдущее тоже было лучшее, но следующее было еще лучше, а следующее за следующим своим лучшим как бы отменяло все лучшее, что было до сих пор. Я даже попытался представить ее ребенком, у которого сбылась его мечта, с такой жадностью она вспоминала все свои лучшие пирожные.

Я, так уж вышло, мало что мог вспомнить, когда дело дошло до пирожных. Во всяком случае, не мог сказать, какие ел лучшие. Поэтому на все эти ее лучшие пирожные сказал, что моя бабушка пекла на Пасху куличи, вкус которых я до сих пор чувствую во рту. Но не знаю, были ли они на самом деле лучшими. Впрочем, это не имеет значения. Иногда покупаю себе на Пасху кулич в той или иной кондитерской и сравниваю их с бабушкиными, но до сих пор так и не нашел ни одного с таким же вкусом. Не говоря уже о том, что куличи из кондитерской через два-три дня черствеют. А те, которые пекла бабушка, могли лежать месяцами, и когда такой кулич резали, с ножа капало сливочное масло. При этом они оставались мягкими, словно воздушными. Пан когда-нибудь ел такой кулич? Тогда он не пробовал чего-то лучшего. Пану надо было приехать как-нибудь на Пасху. Сразу после нее или чуть позже. Куличи выносили на чердак, и они там лежали. Ели не больше кусочка в день. Попробовал бы их пан...

Когда я был женат, жена решила найти рецепт такого кулича, потому что, когда наступала Пасха, не могла больше слушать, что моя бабушка и так далее. Она даже написала одному известному кондитеру. Да, он прислал ей рецепт, она испекла, но это было совсем не то. Бабушка пекла дюжину таких кексов. Тесто она замешивала в большой деже³⁵. Где-то на половину ее объема. Потом оставляла его, и когда оно подходило, пузырилось так, что казалось, что кипит. По цвету было очень похоже на грибы. Обычно ели вечером, по одному кусочку за раз. Бабушка делила куличи на части, чтобы их хватило на как можно дольше. И тогда казалось, что Пасха все продолжается и продолжается.

Нет, она не ела пасхальных куличей. Попросила меня рассказать ей. Но как рассказать о бабушкиных куличах?.. Можно сказать о форме, что на конус, потому что их выпекали в такой посуде, верхняя часть которой более широкая сверху и более узкая снизу, но что это даст? Самое главное – это вкус, а не форма. А как рассказать о вкусе? Пусть пан сам скажет.

Любой вкус. Допустим, сладкий. Что значит сладкий? Могут быть миллионы сладостей. Сколько людей, столько может быть и сладостей. Один человек кладет в кофе чайную ложку сахара, и он сладкий, а другому нужно две или три, чтобы сделать его сладким. Во время войны, например, сахара не было, варили сироп из сахарной свеклы, отвратительный, если бы пан попробовал, но все было таким же сладким, как до войны. О, сладкое и сладкое – никогда не бывает одним и тем же. Сладкое сегодня, сладкое раньше, сладкое здесь или сладкое там, все – разной сладости.

Поэтому рассказал ей, что он был сделан из муки, яиц, масла, сливок, потому что это я знал, а все остальное бабушка унесла с собой в могилу. Может, она забрала с собой тайну всех бабушек. Все, что осталось, это то, что во рту таял.

Она расстроилась, когда сказал ей об этом. Чтобы утешить ее, я сказал, что все равно эти пирожные, о которых она рассказывала, безусловно, были самыми лучшими. И спросил: не хочет ли она еще одно. Я даю ей отпущение грехов. Она печально улыбнулась и сказала, что позволит уговорить себя съесть только кусочек того пасхального кулича. Тогда, может, она выпьет немного вина, спросил я. Она с радостью согласилась. И пока мы пили вино, раз за разом поднося бокал ко рту, она смотрела на меня так, как будто наконец-то вспомнила меня. И у меня больше не было ни малейшего сомнения в том, что это была

³⁵ Дежа, квашня – хлебное тесто, а также деревянная кадушка (иногда дуплянка) для его приготовления. В традиционной культуре восточных и западных славян – символ достатка и благополучия.

она. Не важно, здесь или там, в поезде, в парке на скамейке или где бы то ни было. В данный момент это не имело никакого значения.

Пан, наверное, думает, что человек должен сначала встретить этого кого-то, чтобы потом вспомнить. А не задумывался ли он о том, что иногда все происходит наоборот? То есть, по вашему мнению, все зависит от памяти, так? Значит, что-то должно произойти сначала, чтобы потом, даже много лет спустя, память смогла это воскресить? На мой же взгляд, есть вещи, в которые памяти лучше не вмешиваться. Соглашусь с паном, в тех случаях, о которых он говорит, да. Однако помощь памяти нам нужна не всегда. Бывает и так, что нам нужно больше забвения. Было бы трудно жить в вечной зависимости от памяти. Вот почему иногда мы должны обманывать ее, запутывать, убегать от нее. По совести, нам даже не нужно помнить, что мы – в этом мире. Не все, как пан думает, должно следовать порядку памяти.

Поэтому, когда она вошла в кафе, оглядываясь по сторонам в поисках свободного столика, я был уверен, даже если бы кто-то только что освободил столик, она все равно подошла бы к моему и спросила:

– Позвольте мне сесть за ваш столик? Все места заняты.

– Пожалуйста, – сказал бы я, как ни в чем не бывало.

А дальше пан уже знает. Я ничего не скрываю. А что мне скрывать? Я не приносил счастья женщинам. Больше ничего не знаю. В любом случае, пан может прочитать какую-нибудь книгу, посмотреть какой-нибудь фильм, и это будет то же самое. Это всегда одно и то же. Нет слов, чтобы сказать, что это не одно и то же. На мой взгляд, – да, все зависит от слов. Какие слова, такие и вещи, события, представления, сны, мысли, мечты и все остальное, даже то, что находится на самом дне человека. Какими бы ни были слова, все одно, это был бы человек, каким бы ни был мир, каким бы ни был Бог.

Если скажу пану, что любил ее, все равно это ничего не скажет вам, потому что это ничего не скажет мне самому. Сегодня я знаю столько же, сколько знал тогда. Пожалуй, даже лучше сказать, что не знаю того, чего не знал тогда. Ибо что значит любить? Пожалуйста, скажите мне, если знаете. И почему, если любил ее, как никого на свете, мы не знали, как нам быть вместе? Сказать любил, кстати, это все равно, что ничего не сказать. Временами мне казалось, что она просто подарила мне жизнь. Как будто это не она из моего ребра, а я – из ее, в противоположность тому, о чем нам говорит Писание. Буду умирать, увижу, как она входит в кафе, оглядывается вокруг в поисках свободного столика, затем подходит к моему и спрашивает:

– Вы позволите...

– Пожалуйста.

Она садится, но мы не хотим больше разговаривать. Даже о пирожных не хотим говорить. Не потому что мы сказали друг другу все, а потому что мы почти ничего не сказали. Потребовалась бы вечность, чтобы сказать друг другу все, а не тот краткий миг, в который мы жили. Не знаю, может, мы уже боимся слов, даже слов о пирожных. Может, для нас больше нет слов. А без слов мы не знаем, какое пирожное какое, не говоря уже о том, какое самое лучшее.

Мы не очень хорошо ладили друг с другом, как пан мог бы подумать. Но еще хуже нам было друг без друга. Мы расставались, возвращались, снова расставались, снова возвращались. И каждый раз клялись друг другу, что больше никогда не расстанемся. А потом это случалось снова. И когда мы снова возвращались, каждый раз мы словно находили друг друга, как тогда в кафе.

Не знаю, рассказывал ли пану, однажды я снова поехал в санаторий и после прогулки зашел в это кафе. Сажу, пью кофе, просматриваю газету. В один момент поднимаю взгляд от газеты и вижу, что она входит. А мы уже расстались. Навсегда.

Были свободные столики, но она подошла ко мне и спросила:

– Разрешите?..

– Пожалуйста.

– О, как плохо выглядят твои руки.

– А как твое сердце?

И снова мы решили никогда больше не расставаться. Но вскоре расстались. Ну, и скажите мне, это была любовь? На мой взгляд, любовь – это скудость существования. А мы были скудны на существование. Мы оба были уже не молоды. Она, правда, была на несколько лет моложе меня, но прошло уже много лет с тех пор, как прошла ее молодость. Мне приходилось иногда просить ее не стыдиться своего тела. Когда раздевалась, всегда с опаской поглядывала, не смотрю ли я на нее. Это было всегда:

– Выключи свет.

– Почему?

– Выключи, пожалуйста.

– Но почему?

– Ты что, не понимаешь?

Я не понимал. Она, наверное, и не подозревала, что когда я смотрел, как она раздевается, я чувствовал, что становлюсь богаче на все ее боли, на ее страдания, на ее перемены. Я тоже многое пережил, но для меня это было не так важно, как то, чем она была отмечена. Нет, дело было не в том, что я страдал вместе с ней. Кроме того, разве любовь нуждается в сострадании? Я имею в виду, что ощущал ее существование, как свое существование.

Пан спросит, что это значит? Это, как если бы вы хотели взвалить на себя всю тяжесть чужого существования. Как будто вы хотите избавить этого кого-то от необходимости существовать вообще. Как будто вы хотите умереть и за него, чтобы ему не пришлось переживать свою собственную смерть. А это – нечто иное, чем сострадание, как его обычно понимают. С такой, хотя бы воображаемой, возможностью, я чувствовал, что хочу снова жить. Пан говорит, что это невозможно.

Возможно, невозможно. Только, в связи с этим, какова должна быть мера любви? Если под этим ничем не значащим словом мы с вами понимали бы одно и то же? В соответствии с чем мы должны ее чувствовать? По желанию тела? Тело имеет свой конец, и гораздо, гораздо раньше, до того, как наступит смерть.

Пан не знает, жива ли она? Я удивил вас? А кто, кроме пана, мог бы мне сказать об этом? Думал, хотя бы это услышу от вас. Потому что, если бы знал, что она мертва, я бы тоже не хотел жить.

Иногда думаю, может, если бы я играл. Или, может, я боялся впустить ее в свою жизнь. Или у меня просто не было сил выдержать эту любовь. Пан не понимает, что значит любовь, когда ты уже не молод. Это самое сложное испытание. Когда ты молод, небытие еще не кажется таким пугающим. А я, видит пан, всегда жил на грани существования, небытия. И даже когда мне казалось, что я был там, это было так, как будто был мимоходом, в гостях у кого-то, хотя не знаю у кого, потому что у меня никого нет.

Пан думает, поэтому я сюда и вернулся? Но и здесь мне не место. И что с того, что пан сюда пришел за фасолью? Он мог прийти куда угодно, и не обязательно за фасолью. Не меня, так кого-то пан всегда найдет. Какая разница? Думаю, для пана нет никакой. Я ни с кем вас не перепутал. Но я долго вспоминал – где, когда. В какой-то момент, в самом начале, даже подумал, не он ли это. Нет, никто. Я просто так подумал. Но нет. В конце концов, если бы пан был им, вы бы не пришли ко мне за фасолью. Как бы пан узнал, что есть на свете такой человек.

Который час? О, мне пора. Нужно обойти коттеджи. Я же говорил пану, что обхожу их, по крайней мере, один раз за ночь, часто два, когда не могу заснуть. О, и собаки не спят. Ну, как дела, Рекс? Что, Лапша? Сидеть! Вы уже обнюхали пана. Нет, они не голодны. Они ели вечером. Может, им что-то приснилось? Я оставлю их с паном. Не бойтесь их. Просто лущите фасоль.